

ЭЛЕКТРОННАЯ
ХРЕСТОМАТИЯ

по учебному предмету
«Русская
литература»

11

Часть 1

Оглавление (часть 1)

Максим Горький. Пьеса «На дне».....	4
Действующие лица:.....	4
Действие первое.....	4
Действие второе.....	19
Действие третье.....	31
Действие четвертое.....	43
Иван Алексеевич Бунин.....	52
Рассказ «Холодная осень».....	52
Рассказ «Господин из Сан-Франциско».....	55
Поэма «Листопад».....	69
Валерий Яковлевич Брюсов.....	73
Стихотворение «Сонет к форме».....	73
Стихотворение «Грядущие гунны».....	74
Стихотворение «Юному поэту».....	75
Стихотворение «Работа».....	76
Константин Дмитриевич Бальмонт.....	77
Стихотворение «Челн томленья».....	77
Стихотворение «Песня без слов».....	78
Стихотворение «Океан».....	78
Стихотворение «Я мечтою ловил уходящие тени...».....	79
Стихотворение «Камыши».....	80
Александр Александрович Блок.....	81
Стихотворение «Незнакомка».....	81
Стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе...».....	83
Стихотворение «Россия».....	84
Стихотворение «О, весна без конца и без краю...».....	85
Стихотворение «На железной дороге».....	86
Цикл «Стихи о Прекрасной Даме».....	88
Поэма «Двенадцать».....	89
Николай Степанович Гумилёв.....	100
Стихотворение «Капитаны».....	100
Стихотворение «Жираф».....	104
Стихотворение «Волшебная скрипка».....	105
Стихотворение «Заблудившийся трамвай».....	106
Игорь Северянин.....	108
Стихотворение «Эпилог».....	108
Стихотворение «Увертюра».....	110
Сергей Александрович Есенин.....	111
Стихотворение «Край любимый! Сердцу снятся...».....	111
Стихотворение «Я покинул родимый дом...».....	112
Стихотворение «Отговорила роща золотая...».....	113
Стихотворение «Неуютная жидкая лунность...».....	114
Стихотворение «Спит ковыль. Равнина дорогая...».....	115
Стихотворение «Собаке Качалова».....	116
Стихотворение «Шаганэ ты моя, Шаганэ...».....	117

Владимир Владимирович Маяковский.....	118
Стихотворение «Послушайте!».....	118
Стихотворение «О дряни».....	119
Стихотворение «Прозаседавшиеся».....	121
Стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой».....	123
Стихотворение «А вы могли бы?».....	126
Поэма «Облако в штанах».....	127
Поэма «Про это».....	149
Про что – про это?.....	149
I. Баллада Редингской тюрьмы.....	151
II. Ночь под рождество.....	163
Прошение на имя.....	187
Андрей Платонович Платонов.....	193
Рассказ «Фро».....	193
Рассказ «На заре туманной юности».....	209
Марина Ивановна Цветаева.....	227
Стихотворение «Домики старой Москвы».....	227
Стихотворение «Моим стихам, написанным так рано...».....	228
Стихотворение «Вот опять окно...».....	228
Стихотворение «Реквием».....	229
Стихотворение «Имя твое — птица в руке...».....	230
Стихотворение «Генералам двенадцатого года».....	231
Стихотворение «Мне нравится, что Вы больны не мной...».....	233
Анна Андреевна Ахматова.....	234
Стихотворение «Вечером».....	234
Стихотворение «Мне голос был».....	234
Стихотворение «Я не знаю, ты жив или умер...».....	235
Стихотворение «Смуглый отрок бродил по аллеям...».....	235
Стихотворение «Я пришла к поэту в гости...».....	236
Стихотворение «Муза».....	236
Поэма «Реквием».....	237
Вместо предисловия.....	237
Посвящение.....	237
Вступление.....	238
I.....	238
II.....	238
III.....	238
IV.....	239
V.....	239
VI.....	239
VII Приговор.....	240
VIII К смерти.....	240
IX.....	241
X Распятие.....	241
Эпилог.....	242

Хрестоматия по русской литературе для 11 класса (часть 2):

М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита», повесть «Собачье сердце»

Максим Горький. Пьеса «На дне»

Посвящаю

Константину Петровичу Пятницкому

М. Горький

Действующие лица:

Михаил Иванов Костылев, 54 лет, содержатель ночлежки.

Василиса Карповна, его жена, 26 лет.

Наташа, ее сестра, 20 лет.

Медведев, их дядя, полицейский, 50 лет.

Васька Пепел, 28 лет.

Клещ Андрей Митрич, слесарь, 40 лет.

Анна, его жена, 30 лет.

Настя, девица, 24 лет.

Квашня, торговка пельменями, под 40 лет.

Бубнов, картузник, 45 лет.

Барон, 33 лет.

Сатин, Актер — приблизительно одного возраста: лет под 40.

Лука, странник, 60 лет.

Алешка, сапожник, 20 лет.

Кривой зуб, *Татарин* — крючники.

Несколько босяков без имен и речей.

Действие первое

Подвал, похожий на пещеру. Потолок — тяжелые, каменные своды, закопченные, с обвалившейся штукатуркой. Свет — от зрителя и, сверху вниз, — из квадратного окна с правой стороны. Правый угол занят отгороженной тонкими переборками комнатой Пепла, около двери в эту комнату — нары Бубнова. В левом углу — большая русская печь; в левой — каменной — стене — дверь в кухню, где живут Квашня, Барон, Настя. Между печью и дверью у стены — широкая кровать, закрытая грязным ситцевым пологом. Везде по стенам — нары. На переднем плане у левой стены — обрубок дерева с тисками и маленькой наковальней, прикрепленными к нему, и другой, пониже первого. На последнем, перед наковальней, сидит Клещ, примеривая ключи к старым замкам. У ног его — две большие связки разных ключей, надетых на кольца из проволоки, исковерканный самовар из жести, молоток, подпилки. Посредине ночлежки — большой стол, две скамьи, табурет, все — некрашеное и грязное. За столом, у самовара, Квашня хозяйничает, Барон жует черный хлеб и Настя, на табурете, читает, облокотясь на стол, растрепанную книжку. На постели, закрытая пологом, кашляет Анна. Бубнов, сидя на нарах, примеряет на болванке для шапок, зажатой в коленях, старые, распоротые брюки, соображая, как нужно кроить. Около него — изодранная картонка из-под шляпы — для козырьков, куски клеенки, тряпье. Сатин только что проснулся, лежит на нарах и — рычит. На печке, невидимый, возится и кашляет Актер.

Начало весны. Утро.

Барон. Дальше!

Квашня. Не-ет, говорю, милый, с этим ты от меня поди прочь. Я, говорю, это испытала... и теперь уж — ни за сто печеных раков — под венец не пойду!

Бубнов (Сатину). Ты чего хрюкаешь?

Квашня. Чтобы я, — говорю, — свободная женщина, сама себе хозяйка, да кому-нибудь в паспорт вписалась, чтобы я мужчине в крепость себя отдала — нет! Да будь он хоть принц американский, — не подумаю замуж за него идти.

Клещ. Врешь!

Квашня. Чего-о?

Клещ. Врешь! Обвенчаешься с Абрамкой...

Барон (выхватив у Насти книжку, читает название). «Роковая любовь» ... (Хохочет.)

Настя (протягивая руку). Дай... отдай! Ну... не балуй!

Барон смотрит на нее, помахивая книжкой в воздухе.

Квашня (Клещу). Козел ты рыжий! Туда же — врешь! Да как ты смеешь говорить мне такое дерзкое слово?

Барон (ударяя книгой по голове Настю). Дура ты, Настька...

Настя (отнимает книгу). Дай...

Клещ. Велика барыня!.. А с Абрамкой ты обвенчаешься... только того и ждешь...

Квашня. Конечно! Еще бы... как же! Ты вон заездил жену-то до полусмерти...

Клещ. Молчать, старая собака! Не твое это дело...

Квашня. А-а! Не терпишь правды!

Барон. Началось! Настька — ты где?

Настя (не поднимая головы). А?.. Уйди!

Анна (высовывая голову из-за полога). Начался день! Бога ради... не кричите... не ругайтесь вы!

Клещ. Заныла!

Анна. Каждый божий день... дайте хоть умереть спокойно!

Бубнов. Шум — смерти не помеха...

Квашня (подходя к Анне). И как ты, мать моя, с таким злыднем жила?

Анна. Оставь... отстань...

Квашня. Ну-ну! Эх ты... терпеливица!.. Что, не легче в груди-то?

Барон. Квашня! На базар пора...

Квашня. Идем, сейчас! (Анне.) Хочешь, пельмешков горяченьких дам?

Анна. Не надо... спасибо! Зачем мне есть?

Квашня. А ты — поешь. Горячее — мягчит. Я тебе в чашку отложу и оставлю... захочешь, когда, и покушай! Идем, барин... (Клещу.) У, нечистый дух... (Уходит в кухню.)

Анна (кашляя). Господи...

Барон (тихонько толкает Настю в затылок). Брось... дуреха!

Настя (бормочет). Убирайся... я тебе не мешаю.

Барон, насвистывая, уходит за Квашней.

Сатин (приподнимаясь на нарах). Кто это бил меня вчера?

Бубнов. А тебе не все равно?..

Сатин. Положим, так... А за что били?

Бубнов. В карты играл?

Сатин. Играл...

Бубнов. За это и били...

Сатин. М-мерзавцы...

Актер (высовывая голову с печи). Однажды тебя совсем убьют... до смерти...

Сатин. А ты — болван.

Актер. Почему?

Сатин. Потому что — дважды убить нельзя.

Актер (помолчав). Не понимаю... почему — нельзя?

Клещ. А ты слезай с печи-то да убирай квартиру... чего нежишься?

Актер. Это дело не твое...

Клещ. А вот Василиса придет — она тебе покажет, чье дело...

Актер. К черту Василису! Сегодня баронова очередь убираться... Барон!

Барон (выходя из кухни). Мне некогда убираться... я на базар иду с Квашней.

Актер. Это меня не касается... иди хоть на каторгу... а пол мести твоя очередь... я за других не стану работать...

Барон. Ну, черт с тобой! Настёнка подметет... Эй, ты, роковая любовь! Очнись!
(Отнимает книгу у Насти.)

Настя (вставая). Что тебе нужно? Дай сюда! Озорник! А еще — барин...

Барон (отдавая книгу). Настя! Подмети пол за меня — ладно?

Настя (уходя в кухню). Очень нужно... как же!

Квашня (в двери из кухни — Барону). А ты — иди! Уберутся без тебя... Актер! тебя просят, — ты и сделай... не переломишься, чай!

Актер. Ну... всегда я... не понимаю...

Барон (выносит из кухни на коромысле корзины. В них — корчаги, покрытые тряпками).
Сегодня что-то тяжело...

Сатин. Стоило тебе родиться бароном...

Квашня (Актеру). Ты смотри же, — подмети! (Выходит в сени, пропустив вперед себя Барона.)

Актер (слезая с печи). Мне вредно дышать пылью. (С гордостью.) Мой организм отравлен алкоголем... (Задумывается, сидя на нарах.)

Сатин. Организм... органон...

Анна. Андрей Митрич...

Клещ. Что еще?

Анна. Там пельмени мне оставила Квашня... возьми поешь.

Клещ (подходя к ней). А ты — не будешь?

Анна. Не хочу... На что мне есть? Ты — работник... тебе — надо...

Клещ. Боишься? Не бойся... может, еще...

Анна. Иди, кушай! Тяжело мне... видно, скоро уж...

Клещ (отходя). Ничего... может — встанешь... бывает! (Уходит в кухню.)

Актер (громко, как бы вдруг проснувшись). Вчера, в лечебнице, доктор сказал мне: ваш, говорит, организм — совершенно отравлен алкоголем...

Сатин (улыбаясь). Органон...

Актер (настойчиво). Не органон, а ор-га-ни-зм...

Сатин. Сикамбр...

Актер (машет на него рукой). Э, вздор! Я говорю — серьезно... да. Если организм — отравлен... значит, — мне вредно мести пол... дышать пылью...

Сатин. Макробиотика... ха!

Бубнов. Ты чего бормочешь?

Сатин. Слова... А то еще есть — транс-сцедентальный...

Бубнов. Это что?

Сатин. Не знаю... забыл...

Бубнов. А к чему говоришь?

Сатин. Так... Надоели мне, брат, все человеческие слова... все наши слова — надоели! Каждое из них слышал я... наверное, тысячу раз...

Актер. В драме «Гамлет» говорится: «Слова, слова, слова!» Хорошая вещь... Я играл в ней могильщика...

Клещ (выходя из кухни). Ты с метлой играть скоро будешь?

Актер. Не твое дело... *(Ударяет себя в грудь рукой.)* «Офелия! О... помани меня в твоих молитвах!..»

За сценой, где-то далеко, — глухой шум, крики, свисток полицейского. Клещ садится за работу и скрипит подпилком.

Сатин. Люблю непонятные, редкие слова... Когда я был мальчишкой... служил на телеграфе... я много читал книг...

Бубнов. А ты был и телеграфистом?

Сатин. Был... *(Усмехаясь.)* Есть очень хорошие книги... и множество любопытных слов... Я был образованным человеком... знаешь?

Бубнов. Слышал... сто раз! Ну и был... эка важность!.. Я вот — скорняк был... свое заведение имел... Руки у меня были такие желтые — от краски: меха подкрашивал я, — такие, брат, руки были желтые — по локоть! Я уж думал, что до самой смерти не отмою... так с желтыми руками и помру... А теперь вот они, руки... просто грязные... да!

Сатин. Ну и что же?

Бубнов. И больше ничего...

Сатин. Ты это к чему?

Бубнов. Так... для соображения... Выходит — снаружи как себя ни раскрашивай, все сотрется... все сотрется, да!

Сатин. А... кости у меня болят!

Актер (сидит, обняв руками колени). Образование — чепуха, главное — талант. Я знал артиста... он читал роли по складам, но мог играть героев так, что... театр трещал и шатался от восторга публики...

Сатин. Бубнов, дай пятак!

Бубнов. У меня всего две копейки...

Актер. Я говорю — талант, вот что нужно герою. А талант — это вера в себя, в свою силу...

Сатин. Дай мне пятак, и я поверю, что ты талант, герой, крокодил, частный пристав... Клещ, дай пятак!

Клещ. Пошел к черту! Много вас тут...

Сатин. Чего ты ругаешься? Ведь у тебя нет ни гроша, я знаю...

Анна. Андрей Митрич... Душно мне... трудно...

Клещ. Что же я сделаю?

Бубнов. Дверь в сени отвори...

Клещ. Ладно! Ты сидишь на нарах, а я — на полу... пусти меня на свое место, да и отворяй... а я и без того простужен...

Бубнов (спокойно). Мне отворять не надо... твоя жена просит...

Клещ (угрюмо). Мало ли кто чего попросил бы...

Сатин. Гудит у меня голова... эх! И зачем люди бьют друг друга по башкам?

Бубнов. Они не только по башкам, а и по всему прочему телу. (Встает.) Пойти, ниток купить... А хозяев наших чего-то долго не видать сегодня... словно издохли. (Уходит.)

Анна кашляет. Сатин, закинув руки под голову, лежит неподвижно.

Актер (тоскливо осмотревшись вокруг, подходит к Анне). Что? Плохо?

Анна. Душно.

Актер. Хочешь — в сени выведу? Ну, вставай. (Помогает женщине подняться, накидывает ей на плечи какую-то рухлядь и, поддерживая, ведет в сени.) Ну-ну... твердо! Я — сам больной... отравлен алкоголем...

Костылев (в дверях). На прогулку? Ах, и хороша парочка, баран да ярочка...

Актер. А ты — посторонись... видишь — больные идут?..

Костылев. Проходи, изволь... (Напевая под нос что-то божественное, подозрительно осматривает ночлежку и склоняет голову налево, как бы прислушиваясь к чему-то в комнате Пепла.)

Клещ ожесточенно звякает ключами и скрипит подпилком, исподлобья следя за хозяином.

Костылев. Скрипишь?

Клещ. Чего?

Костылев. Скрипишь, говорю?

Пауза.

А-а.... того... что бишь я хотел спросить? (Быстро и негромко.) Жена не была здесь?

Клещ. Не видал...

Костылев (осторожно подвигаясь к двери в комнату Пепла). Сколько ты у меня за два-то рубля в месяц места занимаешь! Кровать... сам сидишь... н-да! На пять целковых места, ей-богу! Надо будет накинуть на тебя полтинничек...

Клещ. Ты петлю на меня накинь да задави... Издохнешь скоро, а все о полтинниках думаешь...

Костылев. Зачем тебя давить? Кому от этого польза? Господь с тобой, живи, знай, в свое удовольствие... А я на тебя полтинку накину, — маслица в лампаду куплю... и будет перед святой иконой жертва моя гореть... И за меня жертва пойдет, в воздаяние грехов моих, и за тебя тоже. Ведь сам ты о грехах своих не думаешь... ну вот... Эх, Андрюшка, злой ты человек! Жена твоя зачахла от твоего злодейства... никто тебя не любит, не уважает... работа твоя скрипучая, беспокойная для всех...

Клещ (кричит). Ты что меня... травить пришел?

Сатин громко рычит.

Костылев (вздвигнув). Эх ты, батюшка...

Актер (входит). Усадил бабу в сенях, закутал...

Костылев. Экой ты добрый, брат! Хорошо это... это зачтется все тебе...

Актер. Когда?

Костылев. На том свете, братик... там все, всякое деяние наше усчитывают...

Актер. А ты бы вот здесь наградил меня за доброту...

Костылев. Это как же я могу?

Актер. Скости половину долга...

Костылев. Хе-хе! Ты все шутишь, милачок, все играешь... Разве доброту сердца с деньгами можно равнять? Доброта — она превыше всех благ. А долг твой мне — это так и есть долг! Значит, должен ты его мне возместить... Доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана...

Актер. Шельма ты, старец... (*Уходит в кухню.*)

Клещ встает и уходит в сени.

Костылев (*Сатину*). Скрипун-то? Убежал, хе-хе! Не любит он меня...

Сатин. Кто тебя — кроме черта — любит...

Костылев (*посмеиваясь*). Экой ты ругатель! А я вас всех люблю... я понимаю, братия вы моя несчастная, никудышная, пропащая... (*Вдруг, быстро.*) А... Васька — дома?

Сатин. Погляди...

Костылев (*подходит к двери и стучит*). Вася!

Актер появляется в двери из кухни. Он что-то жует.

Пепел. Кто это?

Костылев. Это я.... я, Вася.

Пепел. Что надо?

Костылев (*отодвигаясь*). Отвори...

Сатин (*не глядя на Костылева*). Он отворит, а она — там...

Актер фыркает.

Костылев (*беспокойно, негромко*). А? Кто — там? Ты... что?

Сатин. Чего? Ты — мне говоришь?

Костылев. Ты что сказал?

Сатин. Это я так... про себя...

Костылев. Смотри, брат! Шути в меру... да! (*Сильно стучит в дверь.*) Василий!..

Пепел (*отворяя дверь*). Ну? Чего беспокоишь?

Костылев (*заглядывая в комнату*). Я.... видишь — ты...

Пепел. Деньги принес?

Костылев. Дело у меня к тебе...

Пепел. Деньги — принес?

Костылев. Какие? Погоди...

Пепел. Деньги, семь рублей, за часы — ну?

Костылев. Какие часы, Вася?.. Ах, ты...

Пепел. Ну, ты гляди! Вчера, при свидетелях, я тебе продал часы за десять рублей... три — получил, семь — подай! Чего глазами хлопаешь? Шляется тут, беспокоит людей... а дела своего не знает...

Костылев. Ш-ш! Не сердись, Вася... Часы, — они...

Сатин. Краденые...

Костылев (*строго*). Я краденое не принимаю... как ты можешь...

Пепел (берет его за плечо). Ты — зачем меня встревожил? Чего тебе надо?

Костылев. Да... мне — ничего... я уйду... если ты такой...

Пепел. Ступай, принеси деньги!

Костылев (уходит.) Экие грубые люди! Ай-яй...

Актер. Комедия!

Сатин. Хорошо! Это я люблю...

Пепел. Чего он тут?

Сатин (смеясь). Не понимаешь? Жену ищет... и чего ты не пришибешь его, Василий?!

Пепел. Стану я из-за такой дряни жизнь себе портить...

Сатин. А ты — умненько. Потом — женись на Василисе... хозяином нашим будешь...

Пепел. Велика радость! Вы не токмо все мое хозяйство, а и меня, по доброте моей, в кабаке пропьете... (*Садится на нары.*) Старый черт... разбудил... А я — сон хороший видел: будто ловлю я рыбу, и попал мне — громаднейший лещ! Такой лещ, — только во сне эдакие и бывают... И вот я его вожу на удочке и боюсь, — лёса оборвется! И приготовил сачок... вот, думаю, сейчас...

Сатин. Это не лещ, а Василиса была...

Актер. Василису он давно поймал...

Пепел (сердито). Подите вы к чертям... да и с ней вместе!

Клещ (входит из сеней). Холодище... собачий...

Актер. Ты что же Анну не привел? Замерзнет...

Клещ. Ее Наташка в кухню увела к себе...

Актер. Старик — выгонит...

Клещ (сажаясь работать). Ну... Наташка приведет...

Сатин. Василий! Дай пятак...

Актер (Сатину). Эх ты... пятак! Вася! Дай нам двугривенный...

Пепел. Надо скорее дать... пока рубля не просите... на!

Сатин. Гиблартарр! Нет на свете людей лучше воров!

Клещ (угрюмо). Им легко деньги достаются... Они — не работают...

Сатин. Многим деньги легко достаются, да немногие легко с ними расстаются... Работа? Сделай так, чтоб работа была мне приятна — я, может быть, буду работать... да! Может быть! Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство! (*Актеру.*) Ты, Сарданапал! Идем...

Актер. Идем, Навухудоносор! Напьюсь — как... сорок тысяч пьяниц...

Уходят.

Пепел (зевая). Что, как жена твоя?

Клещ. Видно, скоро уж...

Пауза.

Пепел. Смотрю я на тебя, — зря ты скрипишь.

Клещ. А что делать?

Пепел. Ничего...

Клещ. А как есть буду?

Пепел. Живут же люди...

Клещ. Эти? Какие они люди? Рвань, золотая рота... люди! Я — рабочий человек... мне глядеть на них стыдно... я с малых лет работаю... Ты думаешь, я не вырвусь отсюда? Вылезу... кожу сдеру, а вылезу... Вот, погоди... умрет жена... Я здесь полгода прожил... а все равно как шесть лет...

Пепел. Никто здесь тебя не хуже... напрасно ты говоришь...

Клещ. Не хуже! Живут без чести, без совести...

Пепел (равнодушно). А куда они — честь, совесть? На ноги, вместо сапогов, не наденешь ни чести, ни совести... Честь-совесть тем нужна, у кого власть да сила есть...

Бубнов (входит). У-у.... озяб!

Пепел. Бубнов! У тебя совесть есть?

Бубнов. Чего-о? Совесть?

Пепел. Ну да!

Бубнов. На что совесть? Я — не богатый...

Пепел. Вот и я-то же говорю: честь-совесть богатым нужна, да! А Клещ ругает нас: нет, говорит, у нас совести...

Бубнов. А он что — занять хотел?

Пепел. У него — своей много...

Бубнов. Значит, продает? Ну, здесь этого никто не купит. Вот картонки ломаные я бы купил... да и то в долг...

Пепел (поучительно). Дурак ты, Андрюшка! Ты бы, насчет совести, Сатина послушал... а то — Барона...

Клещ. Не о чем мне с ними говорить...

Пепел. Они — поумнее тебя будут... хоть и пьяницы...

Бубнов. А кто пьян да умен — два угодя в нем...

Пепел. Сатин говорит: всякий человек хочет, чтобы сосед его совесть имел, да никому, видишь, не выгодно иметь-то ее. И это — верно...

Наташа входит. За нею — Лука с палкой в руке, с котомкой за плечами, котелком и чайником у пояса.

Лука. Доброго здоровья, народ честной!

Пепел (приглаживая усы). А-а, Наташа!

Бубнов (Луке). Был честной, да позапрошлой весной...

Наташа. Вот — новый постоялец...

Лука. Мне — все равно! Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна блоха — не плоха: все — черненькие, все — прыгают... так-то. Где тут, милая, приспособиться мне?

Наташа (указывая на дверь в кухню). Туда, иди, бабушка...

Лука. Спасибо, девушка! Туда так туда... Старику — где тепло, там и родина...

Пепел. Какого занятого старичишку-то привели вы, Наташа...

Наташа. Поинтереснее вас... Андрей! Жена твоя в кухне у нас... ты, погодя, приди за ней.

Клещ. Ладно... приду...

Наташа. Ты бы, чай, теперь поласковее с ней обращался... ведь уж недолго...

Клещ. Знаю...

Наташа. Знаешь... Мало знать, ты — понимай. Ведь умирать-то страшно...

Пепел. А я вот — не боюсь...

Наташа. Как же!.. Храбрость...

Бубнов (свистнув). А нитки-то гнилые...

Пепел. Право, не боюсь! Хоть сейчас — смерть приму! Возьмите вы нож, ударьте против сердца... умру — не охну! Даже — с радостью, потому что — от чистой руки...

Наташа (уходит). Ну, вы другим уж зубы-то заговаривайте.

Бубнов (протяжно). А ниточки-то гнилые...

Наташа (у двери в сени). Не забудь, Андрей, про жену...

Клещ. Ладно...

Пепел. Славная девка!

Бубнов. Девица — ничего...

Пепел. Чего она со мной... так? Отвергает... Все равно ведь — пропадет здесь...

Бубнов. Через тебя пропадет...

Пепел. Зачем — через меня? Я ее — жалею...

Бубнов. Как волк овцу...

Пепел. Врешь ты! Я очень... жалею ее... Плохо ей тут жить... я вижу...

Клещ. Погоди, вот Василиса увидит тебя в разговоре с ней...

Бубнов. Василиса? Н-да, она своего даром не отдаст... баба — лютая...

Пепел (ложится на нары). Подите вы к чертям оба... пророки!

Клещ. Увидишь... погоди!..

Лука (в кухне, напевает). Середь но-очи... пу-уть-дорогу не-е видать...

Клещ (уходя в сени). Ишь воет... тоже...

Пепел. А скушно... чего это скушно мне бывает? Живешь-живешь — все хорошо! И вдруг — точно озябнешь: сделается скушно...

Бубнов. Скушно? М-м...

Пепел. Ей-ей!

Лука (поет). Эх, и не вида-ать пути-и...

Пепел. Старик! Эй!

Лука (выглядывая из двери). Это я?

Пепел. Ты. Не пой.

Лука (выходит). Не любишь?

Пепел. Когда хорошо поют — люблю...

Лука. А я, значит, не хорошо?

Пепел. Стало быть...

Лука. Ишь ты! А я думал — хорошо пою. Вот всегда так выходит: человек-то думает про себя — хорошо я делаю! Хвать — а люди недовольны...

Пепел (смеясь). Вот! Верно...

Бубнов. Говоришь — скушно, а сам хохочешь.

Пепел. А тебе что? Ворон...

Лука. Это кому — скушно?

Пепел. Мне вот...

Барон входит.

Лука. Ишь ты! А там, в кухне, девица сидит, книгу читает и — плачет! Право! Слезы текут... Я ей говорю: милая, ты чего это, а? А она — жалко! Кого, говорю, жалко? А вот, говорит, в книжке... Вот чем человек занимается, а? Тоже, видно, со скуки...

Барон. Это — дура...

Пепел. Барон! Чай пил?

Барон. Пил... дальше!

Пепел. Хочешь — полбутылки поставлю?

Барон. Разумеется... дальше!

Пепел. Становись на четвереньки, лай собакой!

Барон. Дурак! Ты что — купец? Или — пьян?

Пепел. Ну, полай! Мне забавно будет... Ты барин... было у тебя время, когда ты нашего брата за человека не считал... и все такое...

Барон. Ну, дальше!

Пепел. Чего же? А теперь вот я тебя заставлю лаять собакой — ты и будешь... ведь будешь?

Барон. Ну, буду! Болван! Какое тебе от этого может быть удовольствие, если я сам знаю, что стал чуть ли не хуже тебя? Ты бы меня тогда заставлял на четвереньках ходить, когда я был неровня тебе...

Бубнов. Верно!

Лука. И я скажу — хорошо!..

Бубнов. Что было — было, а остались — одни пустяки... Здесь господ нету... все слиняло, один голый человек остался...

Лука. Все, значит, равны... А ты, милый, бароном был?

Барон. Это что еще? Ты кто, кикимора?

Лука (смеется). Графа видал я и князя видал... а барона — первый раз встречаю, да и то испорченного...

Пепел (хохочет). Барон! А ты меня сконфузил...

Барон. Пора быть умнее, Василий...

Лука. Эхе-хе! Погляжу я на вас, братцы, — житье ваше — о-ой!..

Бубнов. Такое житье, что как поутру встал, так и за вытье...

Барон. Жили и лучше... да! Я.... бывало... проснусь утром и, лежа в постели, кофе пью... кофе! — со сливками... да!

Лука. А всё — люди! Как ни притворяйся, как ни вихляйся, а человеком родился, человеком и помрешь... И всё, гляжу я, умнее люди становятся, всё занятнее... и хоть живут — всё хуже, а хотят — всё лучше... упрямые!

Барон. Ты, старик, кто такой?.. Откуда ты явился?

Лука. Я-то?

Барон. Странник?

Лука. Все мы на земле странники... Говорят, — слышал я, — что и земля-то наша в небе странница.

Барон (строго). Это так, ну, а — паспорт имеешь?

Лука (не сразу). А ты кто, — сыщик?

Пепел (радостно). Ловко, старик! Что, Бароша, и тебе попало?

Бубнов. Н-да, получил барин...

Барон (сконфуженный). Ну, чего там? Я ведь... шучу, старик! У меня, брат, у самого бумаг нет...

Бубнов. Врешь!

Барон. То есть... я имею бумаги... но — они никуда не годятся.

Лука. Они, бумажки-то, все такие... все никуда не годятся.

Пепел. Барон! Идем в трактир...

Барон. Готов! Ну, прощай, старик... шельма ты!

Лука. Всяко бывает, милый...

Пепел (у двери в сени). Ну, идем, что ли! (Уходит.)

Барон быстро идет за ним.

Лука. В самом деле, человек-то бароном был?

Бубнов. Кто его знает? Барин, это верно... Он и теперь — нет-нет да вдруг и покажет барина из себя. Не отвык, видно, еще.

Лука. Оно, пожалуй, барство-то — как оспа... и выздоровеет человек, а знаки-то остаются...

Бубнов. Он ничего все-таки... Только так иногда брыкнется... вроде как насчет твоего паспорта...

Алешка (входит выпивши, с гармонией в руках. Свистит). Эй, жители!

Бубнов. Чего орешь?

Алешка. Извините... простите! Я человек вежливый...

Бубнов. Опять загулял?

Алешка. Сколько угодно! Сейчас из участка помощник пристава Медякин выгнал и говорит: чтобы, говорит, на улице тобой и не пахло... ни-ни! Я — человек с характером... А хозяин на меня фыркает... А что такое — хозяин? Ф-фе! Недоразумение одно... Пьяница он, хозяин-то... А я такой человек, что... ничего не желаю! Ничего не хочу и — шабаш! На, возьми меня за рубль за двадцать! А я — ничего не хочу.

Настя выходит из кухни.

Давай мне миллион — н-не хочу! И чтобы мной, хорошим человеком, командовал товарищ мой... пьяница, — не желаю! Не хочу!

Настя, стоя у двери, качает головой, глядя на Алешку.

Лука (добродушно). Эх, парень, запутался ты...

Бубнов. Дурость человеческая...

Алешка (ложится на пол). На, ешь меня! А я — ничего не хочу! Я — отчаянный человек! Объясните мне — кого я хуже? Почему я хуже прочих? Вот! Медякин говорит: на улицу не ходи — морду побью! А я — пойду... пойду лягу середь улицы — дави меня! Я — ничего не желаю!..

Настя. Несчастный!.. молоденький еще, а уж... так ломается...

Алешка (увидав ее, встает на колени). Барышня! Мамзель! Парле франсе... прейскурант! Загулял я...

Настя (громко шепчет). Василиса!

Василиса (быстро отворяя дверь, Алешке). Ты опять здесь?

Алешка. Здравствуйте... пожалуйста...

Василиса. Я тебе, щенку, сказала, чтобы духа твоего не было здесь... а ты опять пришел?

Алешка. Василиса Карповна... хошь я тебе... похоронный марш сыграю?

Василиса (толкает его в плечо). Вон!

Алешка (подвигаясь к двери). Постой... так нельзя! Похоронный марш... недавно выучил! Свежая музыка... погоди! так нельзя!

Василиса. Я тебе покажу — нельзя... я всю улицу натравлю на тебя... язычник ты проклятый... молод ты лаять про меня...

Алешка (выбегая). Ну, я уйду...

Василиса (Бубнову). Чтобы ноги его здесь не было! Слышишь?

Бубнов. Я тут не сторож тебе...

Василиса. А мне дела нет, кто ты таков! Из милости живешь — не забудь! Сколько должен мне?

Бубнов (спокойно). Не считал...

Василиса. Смотри — я посчитаю!

Алешка (отворив дверь, кричит). Василиса Карповна! А я тебя не боюсь... н-не боюсь! (*Прячется.*)

Лука смеется.

Василиса. Ты кто такой?..

Лука. Проходящий... странствующий...

Василиса. Ночуешь или жить?

Лука. Погляжу там...

Василиса. Пачпорт!

Лука. Можно...

Василиса. Давай!

Лука. Я тебе принесу... на квартиру тебе приволоку его...

Василиса. Прохожий... тоже! Говорил бы — проходимец... всё ближе к правде-то...

Лука (вздыхнув). Ах, и неласкова ты, мать...

Василиса идет к двери в комнату Пепла.

Алешка (выглядывая из кухни, шепчет). Ушла? а?

Василиса (оборачивается к нему). Ты еще здесь?

Алешка, скрываясь, свистит. Настя и Лука смеются.

Бубнов (Василисе). Нет его...

Василиса. Кого?

Бубнов. Васьки...

Василиса. Я тебя спрашивала про него?

Бубнов. Вижу я.... заглядываешь ты везде...

Василиса. Я за порядком гляжу — понял? Это почему у вас до сей поры не метено? Я сколько раз приказывала, чтобы чисто было?

Бубнов. Актеру мести...

Василиса. Мне дела нет — кому! А вот если санитары придут да штраф наложат, я тогда... всех вас — вон!

Бубнов (спокойно). А чем жить будешь?

Василиса. Чтобы соринки не было! (*Идет в кухню. Насте.*) Ты чего тут торчишь? Что рожато вспухла? Чего стоишь пнем? Мети пол! Наталью... видела? Была она тут?

Настя. Не знаю... не видела...

Василиса. Бубнов! Сестра была здесь?

Бубнов. А.... вот его привела она...

Василиса. Этот... дома был?

Бубнов. Василий? Был... С Клещом она тут говорила, Наталья-то...

Василиса. Я тебя не спрашиваю — с кем! Грязь везде... грязь! Эх вы... свиньи! Чтобы было чисто... слышите! (*Быстро уходит.*)

Бубнов. Сколько в ней зверства, в бабе этой!

Лука. Сурьезная бабочка...

Настя. Озвереешь в такой жизни... Привяжи всякого живого человека к такому мужу, как ее...

Бубнов. Ну, она не очень крепко привязана...

Лука. Всегда она так... разрывается?

Бубнов. Всегда... К любовнику, видишь, пришла, а его нет...

Лука. Обидно, значит, стало. Охо-хо! Сколько это разного народа на земле распоряжается... и всякими страхами друг дружку страшит, а все порядка нет в жизни... и чистоты нет...

Бубнов. Все хотят порядка, да разума нехватка. Однако же надо подмести... *Настя!*.. Ты бы занялась...

Настя. Ну да, как же! Горничная я вам тут... (*Помолчав.*) Напьюсь вот я сегодня... так напьюсь!

Бубнов. И то — дело...

Лука. С чего же это ты, девица, пить хочешь? Давеча ты плакала, теперь вот говоришь — напьюсь!

Настя (вызывающе). А напьюсь — опять плакать буду... вот и все!

Бубнов. Не много...

Лука. Да от какой причины, скажи? Ведь так, без причины, и прыщ не вскочит...

Настя молчит, качая головой.

Так... Эхе-хе... господа люди! И что с вами будет?.. Ну-ка хоть я помету здесь. Где у вас метла?

Бубнов. За дверью, в сенях...

Лука идет в сени.

Настёнка!

Настя. А?

Бубнов. Чего Василиса на Алешку бросилась?

Настя. Он про нее говорил, что надоела она Ваське и что Васька бросить ее хочет... а Наташу взять себе... Уйду я отсюда... на другую квартиру.

Бубнов. Чего? Куда?

Настя. Надоело мне... Лишняя я здесь...

Бубнов (спокойно). Ты везде лишняя... да и все люди на земле — лишние...

Настя качает головой. Встает, тихо уходит в сени. Медведев входит. За ним — Лука с метлой.

Медведев. Как будто я тебя не знаю...

Лука. А остальных людей — всех знаешь?

Медведев. В своем участке я должен всех знать... а тебя вот — не знаю...

Лука. Это оттого, дядя, что земля-то не вся в твоём участке поместилась... осталось маленько и опричь его... (*Уходит в кухню.*)

Медведев (*подходя к Бубнову*). Правильно, участок у меня невелик... хоть хуже всякого большого... Сейчас, перед тем как с дежурства смениться, сапожника Алешку в часть отвез... Лег, понимаешь, среди улицы, играет на гармонии и орет: ничего не хочу, ничего не желаю! Лошади тут ездят и вообще — движение... могут раздавить колесами и прочее... Буйный парнишка... Ну, сейчас я его и... представил. Очень любит беспорядок...

Бубнов. Вечером в шашки играть придешь?

Медведев. Приду. М-да... А что... Васька?

Бубнов. Ничего... все так же...

Медведев. Значит... живет?

Бубнов. Что ему не жить? Ему можно жить...

Медведев (*сомневаясь*). Можно?

Лука выходит в сени с ведром в руке.

М-да... тут — разговор идет... насчет Васьки... ты не слыхал?

Бубнов. Я разные разговоры слышу...

Медведев. Насчет Василисы, будто... не замечал?

Бубнов. Чего?

Медведев. Так... вообще... Ты, может, знаешь, да врешь? Ведь все знают... (*Строго.*) Врать нельзя, брат...

Бубнов. Зачем мне врать!

Медведев. То-то! Ах, псы! Разговаривают: Васька с Василисой... дескать... а мне что? Я ей не отец, я — дядя... Зачем надо мной смеяться?..

Входит Квашня.

Какой народ стал... надо всем смеется... А-а! Ты... пришла...

Квашня. Разлюбезный мой гарнизон! Бубнов! Он опять на базаре приставал ко мне, чтобы венчаться...

Бубнов. Валяй... чего же? У него деньги есть, и кавалер он еще крепкий...

Медведев. Я-то? Хо-хо!

Квашня. Ах ты, серый! Нет, ты меня за это мое, за больное место не тронь! Это, миленький, со мной было... замуж бабе выйти — все равно как зимой в прорубь прыгнуть: один раз сделала, — на всю жизнь памятно...

Медведев. Ты — погоди... мужья — они разные бывают.

Квашня. Да я-то все одинакова! Как издох мой милый муженек, — ни дна бы ему ни покрышки, — так я целый день от радости одна просидела: сижу и все не верю счастьем своему...

Медведев. Ежели тебя муж бил... зря — надо было в полицию жаловаться...

Квашня. Я богу жаловалась восемь лет, — не помогал!

Медведев. Теперь запрещено жен бить... теперь во всем — строгость и закон-порядок! Никого нельзя зря бить... бьют — для порядка...

Лука (вводит Анну). Ну вот и доползли... эх ты! И разве можно в таком слабом составе одной ходить? Где твое место?

Анна (указывая). Спасибо, бабушка...

Квашня. Вот она — замужняя... глядите!

Лука. Бабочка совсем слабого состава... Идет по сеням, цепляется за стенки и — стонает... Пошто вы ее одну пущаете?

Квашня. Не доглядели, простите, батюшка! А горничная ейная, видно, гулять ушла...

Лука. Ты вот — смеешься... а разве можно человека эдак бросать? Он — каков ни есть — а всегда своей цены стоит...

Медведев. Надзор нужен! Вдруг — умрет? Канитель будет из этого... Следить надо!

Лука. Верно, господин ундер...

Медведев. М-да... хоть я... еще не совсем ундер...

Лука. Н-ну? А видимость — самая геройская!

В сенях шум и топот. Доносятся глухие крики.

Медведев. Никак — скандал?

Бубнов. Похоже...

Квашня. Пойти поглядеть...

Медведев. И мне надо идти... Эх, служба! И зачем разнимают людей, когда они дерутся? Они и сами перестали бы... ведь устаешь драться... Давать бы им бить друг друга свободно, сколько каждому влезет... стали бы меньше драться, потому побои-то помнили бы дольше...

Бубнов (слезая с нар). Ты начальству поговори насчет этого...

Костылев (распахивая дверь, кричит). Абрам! Иди... Василиса Наташку... убивает... иди!

Квашня, Медведев, Бубнов бросаются в сени. Лука, качая головой, смотрит вслед им.

Анна. О господи... Наташенька бедная!

Лука. Кто дерется там?

Анна. Хозяйки... сестры...

Лука (подходя к Анне). Чего делят?

Анна. Так они... сытые обе... здоровые...

Лука. Тебя как звать-то?

Анна. Анной... Гляжу я на тебя... на отца ты похож моего... на батюшку... такой же ласковый... мягкий...

Лука. Мяли много, оттого и мягок... *(Смеется дребезжащим смехом.)*

Занавес

Действие второе

Та же обстановка.

Вечер. На нарах около печи Сатин, Барон, Кривой Зоб и Татарин играют в карты. Клещ и Актер наблюдают за игрой. Бубнов на своих нарах играет в шашки с Медведевым. Лука сидит на табурете у постели Анны. Ночлежка освещена двумя лампами: одна висит на стене около играющих в карты, другая — на нарах Бубнова.

Татарин. Еще раз играю, — больше не играю...

Бубнов. Зоб! Пой! (Запевает.)

Солнце всходит и заходит...

Кривой Зоб (подхватывает голос).

А в тюрьме моей темно...

Татарин (Сатину). Мешай карта! Хорошо мешай! Знаем мы, какой-такой ты...

Бубнов и Кривой Зоб (вместе).

Дни и ночи часовые — э-эх!

Стерегут мое окно...

Анна. Побои... обиды... ничего кроме — не видела я... ничего не видела!

Лука. Эх, бабочка! Не тоскуй!

Медведев. Куда ходишь! Гляди!..

Бубнов. А-а! Так, так, так...

Татарин (грозя Сатину кулаком). Зачем карта прятать хочешь? Я вижу... э, ты!

Кривой Зоб. Брось, Асан! Все равно — они нас объегорят... Бубнов, заводи!

Анна. Не помню — когда я сыта была... Над каждым куском хлеба тряслась... Всю жизнь мою дрожала... Мучилась... как бы больше другого не съесть... Всю жизнь в отрепьях ходила... всю мою несчастную жизнь... За что?

Лука. Эх ты, детынька! Устала? Ничего!

Актер (Кривому Зобу). Валетом ходи... валетом, черт!

Барон. А у нас — король.

Клещ. Они всегда побьют.

Сатин. Такая у нас привычка...

Медведев. Дамка!

Бубнов. И у меня... н-ну...

Анна. Помираю, вот...

Клещ. Ишь, ишь как! Князь, бросай игру! Бросай, говорю!

Актер. Он без тебя не понимает?

Барон. Гляди, Андрюшка, как бы я тебя не швырнул ко всем чертям!

Татарин. Сдавай еще раз! Кувшин ходил за вода, разбивал себя..., и я тоже!

Клещ, качая головой, отходит к Бубнову.

Анна. Все думаю я: господи! Неужто и на том свете мұка мне назначена? Неужто и там?

Лука. Ничего не будет! Лежи, знай! Ничего! Отдохнешь там!.. Потерпи еще! Все, милая, терпят... всяк по-своему жизнь терпит... (Встает и уходит в кухню быстрыми шагами.)

Бубнов (запевает).

Как хотите, стерегите...

Кривой Зоб.

Я и так не убегу...

В два голоса.

Мне и хочется на волю... эх!

Цепь порвать я не могу...

Татарин (кричит). А! Карта рукав совал!

Барон (конфузясь). Ну... что же мне — в нос твой сунуть?

Актер (убедительно). Князь! Ты ошибся... никто, никогда...

Татарин. Я видел! Жулик! Не буду играть!

Сатин (собирая карты). Ты, Асан, отвяжись... Что мы — жулики, тебе известно.

Стало быть, зачем играл?

Барон. Проиграл два двугривенных, а шум делаешь на трешницу... еще князь!

Татарин (горячо). Надо играть честно!

Сатин. Это зачем же?

Татарин. Как зачем?

Сатин. А так... Зачем?

Татарин. Ты не знаешь?

Сатин. Не знаю. А ты — знаешь?

Татарин плюет, озлобленный. Все хохочут над ним.

Кривой Зоб (благодарушно). Чудак ты, Асан! Ты — пойми! Коли им честно жить начать, они в три дня с голоду издохнут...

Татарин. А мне какое дело! Надо честно жить!

Кривой Зоб. Заладил! Идем чай пить лучше... Бубен!

И-эх вы, цепи, мои цепи...

Бубнов.

Да вы железны сторожа...

Кривой Зоб. Идем, Асанка! (Уходит, напевая.)

Не порвать мне, не разбить вас...

Татарин грозит Барону кулаком и выходит вслед за товарищем.

Сатин (Барону, смеясь). Вы, ваше вашество, опять торжественно сели в лужу! Образованный человек, а карту передернуть не можете...

Барон (разводя руками). Черт знает, как она...

Актер. Таланта нет... нет веры в себя... а без этого... никогда, ничего...

Медведев. У меня одна дамка... а у тебя две... н-да!

Бубнов. И одна — не бедна, коли умна... ходи!

Клещ. Проиграли вы, Абрам Иваныч!

Медведев. Это не твое дело... понял? И молчи...

Сатин. Выигрыш — пятьдесят три копейки...

Актер. Три копейки мне... А впрочем, зачем мне нужно три копейки?

Лука (выходя из кухни). Ну, обыграли татарина? Водочку пить пойдете?

Барон. Идем с нами!

Сатин. Посмотреть бы, каков ты есть пьяный!

Лука. Не лучше трезвого-то...

Актер. Идем, старик... я тебе продекламирую куплеты...

Лука. Чего это?

Актер. Стихи, — понимаешь?

Лука. Стихи-и! А на что они мне, стихи-то?..

Актер. Это — смешно... А иногда — грустно...

Сатин. Ну, куплетист, идешь? (Уходит с Бароном.)

Актер. Иду... я догоню! Вот, например, старик, из одного стихотворения... начало я забыл... забыл! (*Потирает лоб.*)

Бубнов. Готово! Пропала твоя дамка... ходи!

Медведев. Не туда я пошел... пострели ее!

Актер. Раньше, когда мой организм не был отравлен алкоголем, у меня, старик, была хорошая память... А теперь вот... кончено, брат! Все кончено для меня! Я всегда читал это стихотворение с большим успехом... гром аплодисментов! Ты... не знаешь, что такое аплодисменты... это, брат, как... водка!.. Бывало, выйду, встану вот так... (*Становится в позу.*) Встану... и... (*Молчит.*) Ничего не помню... ни слова... не помню! Любимое стихотворение... плохо это, старик?

Лука. Да уж чего хорошего, коли любимое забыл? В любимом — вся душа...

Актер. Пропил я душу, старик... я, брат, погиб... А почему — погиб? Веры у меня не было... Кончен я...

Лука. Ну, чего? Ты... лечись! От пьянства нынче лечат, слышь! Бесплатно, браток, лечат... такая уж лечебница устроена для пьяниц... чтобы, значит, даром их лечить... Признали, видишь, что пьяница — тоже человек... и даже — рады, когда он лечиться желает! Ну-ка вот, валяй! Иди...

Актер (*задумчиво*). Куда? Где это?

Лука. А это... в одном городе... как его? Название у него эдакое..., да я тебе город назову!.. Ты только вот чего: ты пока готовься! Воздержись... возьми себя в руки и — терпи... А потом — вылечишься... и начнешь жить снова... хорошо, брат, снова-то! Ну, решай... в два приема...

Актер (*улыбаясь*). Снова... сначала... Это — хорошо. Н-да... Снова? (*Смеется.*) Ну... да! Я могу? Ведь могу, а?

Лука. А чего? Человек — все может... лишь бы захотел...

Актер (*вдруг, как бы проснувшись*). Ты — чужак! Прощай пока! (*Свистит.*) Старичок... прощай... (*Уходит.*)

Анна. Дедушка!

Лука. Что, матушка?

Анна. Поговори со мной...

Лука (*подходя к ней*). Давай, побеседуем...

Клещ оглядывается, молча подходит к жене, смотрит на нее и делает какие-то жесты руками, как бы желая что-то сказать.

Что, браток?

Клещ (негромко). Ничего... (Медленно идет к двери в сени, несколько секунд стоит перед ней и — уходит.)

Лука (проводив его взглядом). Тяжело мужику-то твоему...

Анна. Мне уж не до него...

Лука. Бил он тебя?

Анна. Еще бы... От него, чай, и зачала...

Бубнов. У жены моей... любовник был; ловко, бывало, в шатки играл, шельма...

Медведев. Мм-м...

Анна. Дедушка! Говори со мной, милый... Тошно мне...

Лука. Это ничего! Это — перед смертью... голубка. Ничего, милая! Ты — надейся... Вот, значит, помрешь, и будет тебе спокойно... ничего больше не надо будет, и бояться — нечего! Тишина, покой... лежи себе! Смерть — она все успокаивает... она для нас ласковая... Помрешь — отдохнешь, говорится... верно это, милая! Потому — где здесь отдохнуть человеку?

Пепел входит. Он немного выпивши, растрепанный, мрачный. Садится у двери на нарах и сидит молча, неподвижно.

Анна. А как там — тоже мұка?

Лука. Ничего не будет! Ничего! Ты — верь! Спокой и — больше ничего! Призовут тебя к господу и скажут: господи, погляди-ка, вот пришла раба твоя, Анна...

Медведев (строго). А ты почему знаешь, что там скажут? Эй, ты...

Пепел при звуке голоса Медведева поднимает голову и прислушивается.

Лука. Стало быть, знаю, господин ундер...

Медведев (примирительно). М.... да! Ну... твое дело... Хоша... я еще не совсем... ундер...

Бубнов. Двух беру...

Медведев. Ах ты... чтоб тебе!..

Лука. А господь — взглянет на тебя кротко-ласково и скажет: знаю я Анну эту! Ну, скажет, отведите ее, Анну, в рай! Пусть успокоится... знаю я, жила она — очень трудно... очень устала... Дайте покой Анне...

Анна (задыхаясь). Дедушка... милый ты... кабы так! Кабы... покой бы... не чувствовать бы ничего...

Лука. Не будешь! Ничего не будет! Ты — верь! Ты — с радостью помирай, без тревоги... Смерть, я те говорю, она нам — как мать малым детям...

Анна. А.... может... может, выздоровлю я?

Лука (усмехаясь). На что? На муку опять?

Анна. Ну... еще немножко... пожить бы... немножко! Коли там муки не будет... здесь можно потерпеть... можно!

Лука. Ничего там не будет!.. Просто...

Пепел (вставая). Верно... а может, и — не верно!

Анна (пугливо). Господи...

Лука. А, красавец...

Медведев. Кто орет?

Пепел (подходя к нему). Я! А что?

Медведев. Зря брешь, вот что! Человек должен вести себя смирно...

Пепел. Э.... дубина!.. А еще — дядя... х-хо!

Лука (Пеплу, негромко). Слышь, — не кричи! Тут — женщина помирает... уж губы у нее землей обметало... не мешай!

Пепел. Тебе, дед, изволь, — уважу! Ты, брат, молодец! Врешь ты хорошо... сказки говоришь приятно! Ври, ничего... мало, брат, приятного на свете!

Бубнов. Вправду — помирает баба-то?

Лука. Кажись, не шутит...

Бубнов. Кашлять, значит, перестанет... Кашляла она очень беспокойно... Двух беру!

Медведев. Ах, пострели тебя в сердце!

Пепел. Абрам!

Медведев. Я тебе — не Абрам...

Пепел. Абрашка! Наташа — хворает?

Медведев. А тебе какое дело?

Пепел. Нет, ты скажи: сильно ее Василиса избила?

Медведев. И это дело не твое! Это — семейное дело... А ты — кто таков?

Пепел. Кто бы я ни был, а.... захочу, и не видать вам больше Наташки!

Медведев (бросая игру). Ты — что говоришь? Ты — про кого это? Племянница моя чтобы... ах, вор!

Пепел. Вор, а тобой не пойман...

Медведев. погоди! Я — поймаю... я — скоро...

Пепел. А поймаешь, — на горе всему вашему гнезду. Ты думаешь — я молчать буду перед следователем? Жди от волка толка! Спросят: кто меня на воровство подбил и место указал? Мишка Костылев с женой! Кто краденое принял? Мишка Костылев с женой!

Медведев. Врешь! Не поверят тебе!

Пепел. Поверят, потому — правда! И тебя еще запутаю... ха! Погублю всех вас, черти, — увидишь!

Медведев (теряясь). Врешь! И.... врешь! И.... что я тебе худого сделал? Пес ты бешеный...

Пепел. А что ты мне хорошего сделал?

Лука. Та-ак!

Медведев (Луке). Ты... чего каркаешь? Твое тут — какое дело? Тут — семейное дело!

Бубнов (Луке). Отстань! Не для нас с тобой петли вяжут.

Лука (смирненно). Я ведь — ничего! Я только говорю, что, если кто кому хорошего не сделал, тот и худо поступил...

Медведев (не поняв). То-то! Мы тут... все друг друга знаем... а ты — кто такой! (Сердито фыркая, быстро уходит.)

Лука. Рассердился кавалер... охо-хо, дела у вас, братцы, смотрю я.... путанные дела!

Пепел. Василисе жаловаться побежал...

Бубнов. Дуришь ты, Василий. Чего-то храбрости у тебя много завелось... гляди — храбрость у места, когда в лес по грибы идешь... а здесь она — ни к чему... Они тебе живо голову свернут...

Пепел. Н-ну, нет! Нас, ярославских, голыми руками не сразу возьмешь... Ежели война — будем воевать...

Лука. А в самом деле, отойти бы тебе, парень, прочь с этого места...

Пепел. Куда? Ну-ка, выговори...

Лука. Иди... в Сибирь!

Пепел. Эге! Нет, уж я погожу, когда пошлют меня в Сибирь эту на казенный счет...

Лука. А ты слушай — иди-ка! Там ты себе можешь путь найти... Там таких — надобно!

Пепел. Мой путь — обозначен мне! Родитель всю жизнь в тюрьмах сидел и мне тоже заказал... Я когда маленький был, так уж в ту пору меня звали вор, воров сын...

Лука. А хорошая сторона — Сибирь! Золотая сторона! Кто в силе да в разуме, тому там — как огурцу в парнике!

Пепел. Старик! Зачем ты все врешь?

Лука. Ась?

Пепел. Оглох! Зачем врешь, говорю?

Лука. Это в чем же вру-то я?

Пепел. Во всем... Там у тебя хорошо, здесь хорошо... ведь — врешь! На что?

Лука. А ты мне — поверь, да поди сам погляди... Спасибо скажешь... Чего ты тут трешься? И... чего тебе правда больно нужна... подумай-ка! Она, правда-то, может, обух для тебя...

Пепел. А мне все едино! Обух так обух...

Лука. Да чудак! На что самому себя убивать?

Бубнов. И чего вы оба мелете? Не пойму... Какой тебе, Васька, правды надо? И зачем? Знаешь ты правду про себя... да и все ее знают...

Пепел. Погоди, не каркай! Пусть он мне скажет... слушай, старик: бог есть?

Лука молчит, улыбаясь.

Бубнов. Люди все живут... как щепки по реке плывут... строят дом... а щепки — прочь...

Пепел. Ну? Есть? Говори...

Лука (негромко). Коли веришь, — есть; не веришь, — нет... Во что веришь, то и есть...

Пепел молча, удивленно и упорно смотрит на старика.

Бубнов. Пойду, чаю попью... идемте в трактир? Эй!..

Лука (Пеплу). Чего глядишь?

Пепел. Так... погоди!.. Значит...

Бубнов. Ну, я один... *(Идет к двери и встречается с Василисой.)*

Пепел. Стало быть... ты...

Василиса (Бубнову). Настасья — дома?

Бубнов. Нет... *(Уходит.)*

Пепел. А... пришла...

Василиса (подходя к Анне). Жива еще?

Лука. Не тревожь...

Василиса. А ты... чего тут торчишь?

Лука. Я могу уйти... коли надо...

Василиса (направляясь к двери в комнату Пепла). Василий! У меня к тебе дело есть...

Лука подходит к двери в сени, открывает ее и громко хлопает ею. Затем — осторожно влезает на нары и — на печь.

(Из комнаты Пепла.) Вася... Поди сюда!

Пепел. Не пойду... не хочу...

Василиса. А.... что же? На что гневаешься?

Пепел. Скушно мне... надоела мне вся эта канитель...

Василиса. И я.... надоела?

Пепел. И ты...

Василиса крепко стягивает платок на плечах, пржимая руки ко груди. Идет к постели Анны, осторожно смотрит за полог и возвращается к Пеплу.

Ну... говори...

Василиса. Что же говорить? Насильно мил не будешь... и не в моем это характере милости просить... Спасибо тебе за правду...

Пепел. Какую правду?

Василиса. А что надоела я тебе... али это не правда?

Пепел молча смотрит на нее.

(Подвигаясь к нему.) Что глядишь? Не узнаешь?

Пепел (вздыхая). Красивая ты, Васка...

Женщина кладет ему руку на шею, но он стряхивает руку ее движением плеча.

...а никогда не лежало у меня сердце к тебе... И жил я с тобой, и всё... а никогда ты не нравилась мне...

Василиса (тихо). Та-ак... Н-ну...

Пепел. Ну, не о чем нам говорить! Не о чем... иди от меня...

Василиса. Другая приглянулась?

Пепел. Не твое дело... И приглянулась — в свахи тебя не позову...

Василиса (значительно). А напрасно... Может, я бы и сосватала...

Пепел (подозрительно). Кого это?

Василиса. Ты знаешь... что притворяться? Василий... я — человек прямой... (Тише.) Скрывать не буду... ты меня обидел... Ни за что ни про что — как плетью хлестнул... Говорил — любишь... и вдруг...

Пепел. Вовсе не вдруг... я давно... души в тебе нет, баба... В женщине — душа должна быть... мы — звери... нам надо... надо нас — приучать... а ты — к чему меня приучила?..

Василиса. Что было — того нет... Я знаю — человек сам в себе не волен... Не любишь больше... ладно! Так тому и быть...

Пепел. Ну, значит, и — шабаш! Разошлись смирно, без скандала... и хорошо!

Василиса. Нет, погоди! Все-таки... когда я с тобой жила... я все дожидалась, что ты мне поможешь из омуты этого выбраться... освободишь меня от мужа, от дяди... от всей

этой жизни... И, может, я не тебя, Вася, любила, а... надежду мою, думу эту любила в тебе... Понимаешь? Ждала я, что вытащишь ты меня...

Пепел. Ты — не гвоздь, я — не клещи... Я сам думал, что ты, как умная... ведь ты умная... ты — ловкая!

Василиса (близко наклоняясь к нему). Вася! давай поможем друг другу...

Пепел. Как это?

Василиса (тихо, сильно). Сестра... тебе нравится, я знаю...

Пепел. За то ты и бьешь ее зверски! Смотри, Васка! Ее — не тронь...

Василиса. погоди! Не горячись! Можно все сделать тихо, по-хорошему... Хочешь — женись на ней? И я тебе еще денег дам... целковых... триста! Больше соберу — больше дам...

Пепел (отодвигаясь). Постой... как это? За что?

Василиса. Освободи меня... от мужа! Сними с меня петлю эту...

Пепел (тихо свистит). Вон что-о! Ого-го! Это — ты ловко придумала... мужа, значит, в гроб, любовника — на каторгу, а сама...

Василиса. Вася! Зачем — каторга? Ты — не сам... через товарищей! Да если и сам, кто узнает? Наталья — подумай! Деньги будут... уедешь куда-нибудь... меня навек освободишь... и что сестры около меня не будет — это хорошо для нее. Видеть мне ее — трудно... злоблюсь я на нее за тебя... и сдержаться не могу... мучаю девку, бью ее... так — бью... что сама плачу от жалости к ней... А — бью. И — буду бить!

Пепел. Зверь! Хвастаешься зверством своим?

Василиса. Не хвастаюсь — правду говорю. Подумай, Вася... Ты два раза из-за мужа моего в тюрьме сидел... из-за его жадности... Он в меня, как клоп, впился... четыре года сосет! А какой он мне муж? Наташку теснит, измывается над ней, нищая, говорит! И для всех он — яд...

Пепел. Хитро ты плетешь...

Василиса. В речах моих — все ясно... Только глупый не поймет, чего я хочу...

Костылев осторожно входит и крадется вперед.

Пепел (Василисе). Ну... иди!

Василиса. Подумай! *(Видит мужа.)* Ты — что? За мной?

Пепел вскакивает и дико смотрит на Костылев.

Костылев. Это я... я! А вы тут... одни? А-а... Вы — разговаривали? *(Вдруг топает ногами и громко визжит.)* Васка... поганая! Нищая... шкура! *(Пугается своего крика, встреченного молчанием и неподвижностью.)* Прости, господи... опять ты меня, Василиса, во грех ввела... Я тебя ищу везде... *(Взвизгивая.)* Спать пора! Масла в лампы забыла налить... у, ты! Нищая... свинья... *(Дрожащими руками машет на нее.)*

Василиса медленно идет к двери в сени, оглядываясь на Пепла.

Пепел (Костылеву). Ты! Уйди... пошел!..

Костылев (кричит). Я — хозяин! Сам пошел, да! Вор...

Пепел (глухо). Уйди, Мишка...

Костылев. Не смей! Я тут... я тебя...

Пепел хватается за шиворот и встряхивает.

*На печи раздается громкая возня и воющее позевывание.
Пепел выпускает Костылева, старик с криком бежит в сени.*

Пепел (вспрыгнув на нары). Кто это..., кто на печи?

Лука (высовывая голову). Ась?

Пепел. Ты?!

Лука (спокойно). Я.... я самый... о, господи Иисусе Христе!

Пепел (затворяет дверь в сени, ищет запора и не находит). А, черти... Старик, слезай!

Лука. Сейча-ас... лезу...

Пепел (грубо). Ты зачем на печь залез?

Лука. А куда надо было?

Пепел. Ведь... ты в сени ушел?

Лука. В сенях, браточек, мне, старику, холодно...

Пепел. Ты... слышал?

Лука. А — слышал! Как не слышать? Али я — глухой? Ах, парень, счастье тебе идет... Вот идет счастье!

Пепел (подозрительно). Какое счастье? В чем?

Лука. А вот в том, что я на печь залез.

Пепел. А.... зачем ты там возиться начал?

Лука. Затем, значит, что — жарко мне стало..., на твое сиротское счастье, и опять же, смекнул я, как бы, мол, парень-то не ошибся... не придушил бы старичка-то...

Пепел. Да-а.... я это мог... ненавижу...

Лука. Что мудреного? Ничего нет трудного... Часто эдак-то ошибаются...

Пепел (улыбаясь). Ты — что? Сам, что ли, ошибся однажды?

Лука. Парень! Слушай-ка, что я тебе скажу: бабу эту — прочь надо! Ты ее — ни-ни! — до себя не допускай... Мужа — она и сама со света сживет, да еще половчее тебя, да! Ты ее, дьяволицу, не слушай... Гляди — какой я? Лысый... А отчего? От этих вот самых разных баб... Я их, баб-то, может, больше знал, чем волос на голове было... А эта Василиса — она... хуже черемиса!

Пепел. Не понимаю я.... спасибо тебе сказать, или ты... тоже...

Лука. Ты — не говори! Лучше моего не скажешь! Ты слушай: которая тут тебе нравится, бери ее под руку, да отсюда — шагом марш! — уходи! Прочь уходи...

Пепел (угрюмо). Не поймешь людей! Которые — добрые, которые — злые!.. Ничего не понятно...

Лука. Чего там понимать? Всяко живет человек... как сердце налажено, так и живет... сегодня — добрый, завтра — злой... А коли девка эта за душу тебя задела всурьез... уйди с ней отсюда, и кончено... А то — один иди... Ты — молодой, успеешь бабой обзавестись...

Пепел (берет его за плечо). Нет, ты скажи — зачем ты все это...

Лука. Погоди-ка,пусти... Погляжу я на Анну... чего-то она хрипела больно... (Идет к постели Анны, открывает полог, смотрит, трогает рукой.)

Пепел задумчиво и растерянно следит за ним.

Иисусе Христе, многомилостивый! Дух новопреставленной рабы твоей Анны с миром прими...

Пепел (тихо). Умерла?.. (Не подходя, вытягивается и смотрит на кровать.)

Лука (тихо). Отмаялась!.. А где мужик-то ее?

Пепел. В трактире, наверно...

Лука. Надо сказать...

Пепел (вздрагивая). Не люблю покойников...

Лука (идет к двери). За что их любить?.. Любить — живых надо... живых...

Пепел. И я с тобой...

Лука. Боишься?

Пепел. Не люблю...

Торопливо выходят. Пустота и тишина. За дверью в сени слышен глухой шум, неровный, непонятный. Потом — входит Актер.

Актер (останавливается, не затворяя двери, на пороге и, придерживаясь руками за косяки, кричит). Старик, эй! Ты где? Я — вспомнил... слушай. (Шатаясь, делает два шага вперед и, принимая позу, читает.)

*Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет, —
Честь безумцу, который навевает
Человечеству сон золотой!*

Наташа является сзади Актера в двери.

Старик!..

*Если б завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло.
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь...*

Наташа (смеется). Чучело! Нализался...

Актер (оборачиваясь к ней). А-а, это ты? А — где старичок... милый старикашка? Здесь, по-видимому, — никого нет... Наташа, прощай! Прощай... да!

Наташа (входя). Не здоровался, а прощаешься...

Актер (загораживая ей дорогу). Я — уезжаю, ухожу... Настанет весна — и меня больше нет...

Наташа. Пусти-ка... куда это ты?

Актер. Искать город... лечиться... Ты — тоже уходи... Офелия... иди в монастырь... Понимаешь — есть лечебница для организмов... для пьяниц... Превосходная лечебница... Мрамор... мраморный пол! Свет... чистота, пища... всё — даром! И мраморный пол, да! Я ее найду, вылечусь и.... снова буду... Я на пути к возрождению... как сказал... король... Лир! Наташа... по сцене мое имя Сверчков-Заволжский... никто этого не знает, никто! Нет у меня здесь имени... Понимаешь ли ты, как это обидно — потерять имя? Даже собаки имеют клички...

Наташа осторожно обходит Актера, останавливается у кровати Анны, смотрит.

Без имени — нет человека...

Наташа. Гляди... голубчик... померла ведь...

Актер (качая головой). Не может быть...

Наташа (отступая). Ей-богу... смотри...

Бубнов (в двери). Чего смотреть?

Наташа. Анна-то... померла!

Бубнов. Кашлять перестала, значит. (Идет к постели Анны, смотрит, идет на свое место.) Надо Клещу сказать... это — его дело...

Актер. Я иду... скажу... потеряла имя!.. (Уходит.)

Наташа (посреди комнаты). Вот и я.... когда-нибудь так же... в подвале... забитая...

Бубнов (расстилая на своих нарах какое-то тряпье). Чего? Ты чего бормочешь?

Наташа. Так... про себя...

Бубнов. Ваську ждешь? Гляди — сломит тебе голову Васька...

Наташа. А не все равно — кто сломит? Уж пускай лучше он...

Бубнов (ложится). Ну, твое дело...

Наташа. Ведь вот... хорошо, что она умерла... а жалко... Господи!.. Зачем жил человек?

Бубнов. Все так: родятся, проживут, умирают. И я помру..., и ты... Чего жалеть?

Входят: Лука, Татарин, Кривой Зоб и Клещ.

Клещ идет сзади всех, медленно, съежившись.

Наташа. Ш-ш! Анна...

Кривой Зоб. Слышали... царство небесное, коли померла...

Татарин (Клещу). Надо вон тащить! Сени надо тащить! Здесь — мертвый — нельзя, здесь — живой спать будет...

Клещ (негромко). Вытащим...

Все подходят к постели.

Клещ смотрит на жену через плечи других.

Кривой Зоб (Татарину). Ты думаешь — дух пойдет? От нее духа не будет... она вся еще живая высохла...

Наташа. Господи! Хоть бы пожалели... хоть бы кто слово сказал какое-нибудь! Эх вы...

Лука. Ты, девушка, не обижайся... ничего! Где им.... куда нам — мертвых жалеть? Э, милая! Живых — не жалеем... сами себя пожалеть-то не можем... где тут!

Бубнов (зевая). И опять же — смерть слова не боится!.. Болезнь — боится слова, а смерть — нет!

Татарин (отходя). Полицию надо...

Кривой Зоб. Полицию — это обязательно! Клещ! Полиции заявил?

Клещ. Нет... Хоронить надо... а у меня сорок копеек всего...

Кривой Зоб. Ну, на такой случай — займи... а то мы соберем... кто пятак, кто — сколько может... А полиции заяви... скорее! А то она подумает — убил ты бабу... или что... (Идет к нарам и собирается лечь рядом с Татирином.)

Наташа (отходя к нарам Бубнова). Вот... будет она мне сниться теперь... мне всегда покойники снятся... боюсь идти одна... в сенях — темно...

Лука (следуя за ней). Ты — живых опасайся... вот что я скажу...

Наташа. Проводи меня, дедушка...

Лука. Идем... идем, провожу!

Уходят. Пауза.

Кривой Зоб. Охо-хо-о! Асан! Скоро весна, друг... тепло нам жить будет! Теперь уж в деревнях мужики сохи, бороны чинят... пахать налаживаются... н-да! А мы... Асан?.. Дрыхнет уж, Магомет окаянный...

Бубнов. Татары спать любят...

Клещ (*стоит посредине ночлежки и тупо смотрит перед собой*). Чего же мне теперь делать?

Кривой Зоб. Ложись да спи... только и всего...

Клещ (*тихо*). А.... она... как же?

Никто не отвечает ему.

Сатин и Актер входят.

Актер (*кричит*). Старик! Сюда, мой верный Кент...

Сатин. Миклуха-Маклай идет... х-хо!

Актер. Кончено и решено! Старик, где город... где ты?

Сатин. Фата-моргана! Наврал тебе старик... Ничего нет! Нет городов, нет людей... ничего нет!

Актер. Врешь!

Татарин (*вскакивая*). Где хозяин? Хозяину иду! Нельзя спать — нельзя деньги брать... Мертвые... пьяные... (*Быстро уходит.*)

Сатин свистит вслед ему.

Бубнов (*сонным голосом*). Ложись, ребята, не шуми... ночью — спать надо!

Актер. Да... здесь — ага! Мертвец... «Наши сети притащили мертвеца» ... стихотворение... Б-беранжера!

Сатин (*кричит*). Мертвецы — не слышат! Мертвецы не чувствуют... Кричи... реви... мертвецы не слышат!..

В двери является Лука.

Занавес

Действие третье

«Пустырь» — засоренное разным хламом и заросшее бурьяном дворовое место. В глубине его — высокий кирпичный брандмауэр. Он закрывает небо. Около него — кусты бузины. Направо — темная, бревенчатая стена какой-то надворной постройки: сарая или конюшни. А налево — серая, покрытая остатками штукатурки стена того дома, в котором помещается ночлежка Костылевых. Она стоит наискось, так что ее задний угол выходит почти на середину пустыря. Между ею и красной стеной — узкий проход. В серой стене два окна: одно — в уровень с землей, другое — аршина на два выше и ближе к брандмауэру. У этой стены лежат розвальни кверху полозьями и обрубок бревна, длиною аршина в четыре. Направо у стены — куча старых досок, брусьев. Вечер, заходит солнце, освещая брандмауэр красноватым светом. Ранняя весна, недавно стоял снег. Черные сучья бузины еще без почек.

На бревне сидят рядом Наташа и Настя. На дровнях — Лука и Барон. Клещ лежит на куче дерева у правой стены. В окне у земли — рожа Бубнова.

Настя (закрыв глаза и качая головой в такт словам, певуче рассказывает). Вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились... а уж, я его давно жду и дрожу от страха и горя. Он тоже дрожит весь и — белый как мел, а в руках у него леворверт...

Наташа (грызет семечки). Ишь! Видно, правду говорят, что студенты — отчаянные...

Настя. И говорит он мне страшным голосом: «Драгоценная моя любовь...»

Бубнов. Хо-хо! Драгоценная?

Барон. погоди! Не любо — не слушай, а врать не мешай... Дальше!

Настя. «Ненаглядная, говорит, моя любовь! Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой... и грозят меня навеки проклясть за любовь к тебе. Ну и должен, говорит, я от этого лишиться себя жизни...». А леворверт у него — огромный и заряжен десятью пулями... «Прощай, говорит, любезная подруга моего сердца! — решился я бесповоротно... жить без тебя — никак не могу». И отвечала я ему: «Незабвенный друг мой... Рауль...»

Бубнов (удивленный). Чего-о? Как? Краул?

Барон (хохочет). Настька! Да ведь... ведь прошлый раз — Гастон был!

Настя (вскакивая). Молчите... несчастные! Ах... бродячие собаки! Разве... разве вы можете понимать... любовь? Настоящую любовь? А у меня — была она... настоящая! (Барону.) Ты! Ничтожный!.. Образованный ты человек... говоришь — лежачей кофей пил...

Лука. А вы — погоди-ите! Вы — не мешайте! Уважьте человеку... не в слове — дело, а — почему слово говорится? — вот в чем дело! Рассказывай, девушка, ничего!

Бубнов. Раскрашивай, ворона, перья... валяй!

Барон. Ну — дальше!

Наташа. Не слушай их... что они? Они — из зависти это... про себя им сказать нечего...

Настя (снова садится). Не хочу больше! Не буду говорить... Коли они не верят... коли смеются... (Вдруг, прерывая речь, молчит несколько секунд и, вновь закрыв глаза, продолжает горячо и громко, помахивая рукой в такт речи и точно вслушиваясь в отдаленную музыку.) И вот — отвечаю я ему: «Радость жизни моей! Месяц ты мой ясный! И мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете... потому как люблю я тебя безумно и буду любить, пока сердце бьется во груди моей! Но, говорю, не лишай себя молодой твоей

жизни... как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты — вся их радость... брось меня! Пусть лучше я пропаду... от тоски по тебе, жизнь моя... я — одна... я — таковская! Пускай уж я... погибаю, — все равно! Я — никуда не гоюсь... и нет мне ничего... нет ничего...» (*Закрывает лицо руками и беззвучно плачет.*)

Наташа (отвертываясь в сторону, негромко). Не плачь... не надо!

Лука, улыбаясь, гладит голову Нasti.

Бубнов (хохочет). Ах... чертова кукла! а?

Барон (тоже смеется). Дедка! Ты думаешь — это правда? Это все из книжки «Роковая любовь» ... Все это — ерунда! Брось ее!..

Наташа. А тебе что? Ты! Молчи уж... коли бог убил...

Настя (яростно). Пропащая душа! Пустой человек! Где у тебя — душа?

Лука (берет Настю за руку). Уйдем, милая! ничего... не сердись! Я — знаю... Я — верю! Твоя правда, а не ихняя... Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь... значит — была она! Была! А на него — не сердись, на сожителя-то... Он... может, и впрямь из зависти смеется... у него, может, вовсе не было настоящего-то... ничего не было! Пойдем-ка!..

Настя (крепко прижимая руки к груди). Дедушка! Ей-богу... было это! Все было!.. Студент он... француз был... Гастошей звали... с черной бородкой... в лаковых сапогах ходил... разрази меня гром на этом месте! И так он меня любил... так любил!

Лука. Я — знаю! Ничего! Я верю! В лаковых сапогах, говоришь? А-яй-ай! Ну — и ты его тоже — любила?

Уходят за угол.

Барон. Ну и глупа же эта девица... добрая, но... глупа — нестерпимо!

Бубнов. И чего это... человек врать так любит? Всегда — как перед следователем стоит... право!

Наташа. Видно, вранье-то... приятнее правды... Я — тоже...

Барон. Что — тоже? Дальше?!

Наташа. Выдумываю... Выдумываю и — жду...

Барон. Чего?

Наташа (смущенно улыбаясь). Так... Вот, думаю, завтра... приедет кто-то... кто-нибудь... особенный... Или — случится что-нибудь... тоже — небывалое... Подолгу жду... всегда — жду... А так... на самом деле — чего можно ждать?

Пауза.

Барон (с усмешкой). Нечего ждать... Я — ничего не жду! Все уже... было! Прошло... кончено!.. Дальше!

Наташа. А то... вообразу себе, что завтра я... скоростижно помру... И станет от этого — жутко... Летом хорошо воображать про смерть... грозы бывают летом... всегда может грозой убить...

Барон. Нехорошо тебе жить... эта сестра твоя... дьявольский характер!

Наташа. А кому — хорошо жить? Всем плохо... я вижу...

Клещ (до этой поры неподвижный и безучастный — вдруг вскакивает). Всем? Врешь! Не всем! Кабы — всем... пускай! Тогда — не обидно... да!

Бубнов. Что тебя — черт боднул? Ишь ты... взвыл как!

Клещ снова ложится на свое место и ворчит.

Барон. А.... надо мне к Настёнке мириться идти... не помиришься — на выпивку не даст...

Бубнов. Мм... Любят врать люди... Ну, Настька... дело понятное! Она привыкла рожу себе подкрашивать... вот и душу хочет подкрасить... румянец на душу наводит... А.... другие — зачем? Вот — Лука, примерно... много он врет... и без всякой пользы для себя... Старик уж... Зачем бы ему?

Барон (усмехаясь, отходит). У всех людей — души серенькие... все подрумяниться желают...

Лука (выходит из-за угла). Ты, барин, зачем девку тревожишь? Ты бы не мешал ей... пускай плачет-забавляется... Она ведь для своего удовольствия слезы льет... чем тебе это вредно?

Барон. Глупо, старик! Надоела она... Сегодня — Рауль, завтра — Гастон... а всегда одно и то же! Впрочем — я иду мириться с ней... *(Уходит.)*

Лука. Поди-ка, вот... приласкай! Человека приласкать — никогда не вредно...

Наташа. Добрый ты, дедушка... Отчего ты — такой добрый?

Лука. Добрый, говоришь? Ну... и ладно, коли так... да!

За красной стеной тихо звучит гармоника и песня.

Надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть... жалеть людей надо! Христос-от всех жалел и нам так велел... Я те скажу — вовремя человека пожалеть... хорошо бывает! Вот, примерно, служил я сторожем на даче... у инженера одного под Томском городом... Ну, ладно! В лесу дача стояла, место — глухое... а зима была, и — один я, на даче-то... Славно — хорошо! Только раз — слышу — лезут!

Наташа. Воры?

Лука. Они. Лезут, значит, да!.. Взял я ружьишко, вышел... Гляжу — двое... открывают окно — и так занялись делом, что меня и не видят. Я им кричу: ах вы!.. пошли прочь!.. А они, значит, на меня с топором... Я их упреждаю — отстаньте, мол! А то сейчас — стрелю!.. Да ружьишко-то то на одного, то на другого и навожу. Они — на коленки пали: дескать, — пусти! Ну, а я уж того... осердился... за топор-то, знаешь! Говорю — я вас, лешие, прогонял, не шли... а теперь, говорю, ломай ветки один который-нибудь! Наломали они. Теперь, приказываю, один — ложись, а другой пори его! Так они, по моему приказу, и выпороли дружка дружку. А как выпоролись они... и говорят мне — дедушка, говорят, дай хлебца Христа ради! Идем, говорят, не жрамши. Вот те и воры, милая *(смеется)*... вот те и с топором! Да... Хорошие мужики оба... Я говорю им: вы бы, лешие, прямо бы хлеба просили. А они — надоело, говорят... просишь-просишь, а никто не дает... обидно!.. Так они у меня всю зиму и жили. Один, — Степаном звать, — возьмет, бывало, ружьишко и закатится в лес... А другой — Яков был, все хворал, кашлял все... Втроем, значит, мы дачу-то и стерегли. Пришла весна — прощай, говорят, дедушка! И ушли... в Россию побрели...

Наташа. Они — беглые? Каторжане?

Лука. Действительно — так, — беглые... с поселенья ушли... Хорошие мужики!.. Не пожалей я их — они бы, может, убили меня... али еще что... А потом — суд, да тюрьма, да Сибирь... что толку? Тюрьма — добру не научит, и Сибирь не научит... а человек — научит... да! Человек — может добру научить... очень просто!

Пауза.

Бубнов. Мм-да!.. А я вот... не умею врать! Зачем? По-моему — вали всю правду, как она есть! Чего стесняться?

Клещ (вдруг снова вскакивает, как обожженный, и кричит). Какая — правда? Где — правда? (Треплет руками лохмотья на себе.) Вот — правда! Работы нет... силы нет! Вот — правда! Пристанища... пристанища нету! Издыхать надо... вот она, правда! Дьявол! На... на что мне она — правда? Дай вздохнуть... вздохнуть дай! Чем я виноват?... За что мне — правду? Жить — дьявол — жить нельзя... вот она — правда!..

Бубнов. Вот так... забрало!..

Лука. Господи Иисусе... слышь-ка, милый! Ты...

Клещ (дрожит от возбуждения). Говорите тут — пра-авда! Ты, старик, утешаешь всех... Я тебе скажу... ненавижу я всех! И эту правду... будь она, окаянная, проклята! Понял? Пойми! Будь она — проклята! (Бежит за угол, оглядываясь.)

Лука. Ай-яй-ай! Как встревожился человек... И куда побежал?

Наташа. Все равно как рехнулся...

Бубнов. Здорово пущено! Как в театре разыграл... Бывает это, частенько... Не привык еще к жизни-то...

Пепел (медленно выходит из-за угла). Мир честной компании! Что, Лука, старец лукавый, всё истории рассказываешь?

Лука. Видел бы ты... как тут человек кричал!

Пепел. Это Клещ, что ли? Чего он? Бежит как ошпаренный...

Лука. Побежишь, если этак... к сердцу подступит...

Пепел (садится). Не люблю его... больно он зол да горд. (Передразнивая Клеща.) «Я — рабочий человек». И — все его ниже будто... Работай, коли нравится... чем же гордиться тут? Ежели людей по работе ценить... тогда лошадь лучше всякого человека... возит и — молчит! Наташа! Твои дома?

Наташа. На кладбище ушли... потом — ко всенощной хотели...

Пепел. То-то, я гляжу, свободна ты... редкость!

Лука (задумчиво, Бубнову). Вот... ты говоришь — правда... Она, правда-то, — не всегда по недугу человеку... не всегда правдой душу вылечишь... Был, примерно, такой случай; знал я одного человека, который в праведную землю верил...

Бубнов. Во что-о?

Лука. В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете праведная земля... в той, дескать, земле — особые люди населяют... хорошие люди! друг дружку они уважают, друг дружке — завсяко-просто — помогают... и все у них славно-хорошо! И вот человек все собирался идти... праведную эту землю искать. Был он — бедный, жил — плохо... и, когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай, — духа он не терял, а все, бывало, усмехался только да высказывал: «Ничего! потерплю! Еще несколько — пожду... а потом — брошу всю эту жизнь и — уйду в праведную землю...» Одна у него радость была — земля эта...

Пепел. Ну? Пошел?

Бубнов. Куда? Хо-хо!

Лука. И вот в это место — в Сибири дело-то было — прислали ссыльного, ученого... с книгами, с планами он, ученый-то, и со всякими штуками... Человек и говорит ученому: «Покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?» Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил... глядел-глядел — нет нигде праведной земли! Всё верно, все земли показаны, а праведной — нет!..

Пепел (негромко). Ну? Нету?

Бубнов хохочет.

Наташа. Погоди ты... ну, дедушка?

Лука. Человек — не верит... Должна, говорит, быть... ищи лучше! А то, говорит, книги и планы твои — ни к чему, если праведной земли нет... Ученый — в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился — как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил — есть! а по планам выходит — нету! Грабеж!.. И говорит он ученому: «Ах ты... сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый...». Да в ухо ему — раз! Да еще!.. (Помолчав.) А после того пошел домой — и удавился!..

Все молчат, Лука, улыбаясь, смотрит на Пепла и Наташу.

Пепел (негромко). Ч-черт те возьми... история — невеселая...

Наташа. Не стерпел обмана...

Бубнов (угрюмо). Всё — сказки...

Пепел. Н-да... вот те и праведная земля... не оказалось, значит...

Наташа. Жалко... человека-то...

Бубнов. Всё — выдумки... тоже! Хо-хо! Праведная земля! Туда же! Хо-хо-хо!
(Исчезает из окна.)

Лука (кивая головой на окно Бубнова). Смеется! Эхе-хе...

Пауза.

Ну, ребята!.. живите богато! Уйду скоро от вас...

Пепел. Куда теперь?

Лука. В хохлы... Слыхал я — открыли там новую веру... поглядеть надо... да!.. Всё ищут люди, всё хотят — как лучше... дай им, господи, терпенья!

Пепел. Как думаешь... найдут?

Лука. Люди-то? Они — найдут! Кто ищет — найдет... Кто крепко хочет — найдет!

Наташа. Кабы нашли что-нибудь... придумали бы получше что...

Лука. Они — придумают! Помогать только надо им, девонька... уважать надо...

Наташа. Как я помогу? Я сама... без помощи...

Пепел (решительно). Опять я... снова я буду говорить с тобой... Наташа... Вот — при нем... он — все знает... Иди... со мной!

Наташа. Куда? По тюрьмам?

Пепел. Я сказал — брошу воровство! Ей-богу — брошу! Коли сказал — сделаю! Я — грамотный... буду работать... Вот он говорит — в Сибирь-то по своей воле надо идти... Едем туда, ну?.. Ты думаешь — моя жизнь не претит мне? Эх, Наташа! Я знаю... вижу!.. Я утешаю себя тем, что другие побольше моего воруют, да в чести живут... только это мне не помогает! Это... не то! Я — не каюсь... в совесть я не верю... Но — я одно чувствую: надо жить... иначе! Лучше надо жить! Надо так жить... чтобы самому себя можно мне

было уважать... Лука. Верно, милый! Дай тебе господи... помоги тебе Христос! Верно: человек должен уважать себя...

Пепел. Я — сызмалетства — вор... все, всегда говорили мне: вор Васька, воров сын Васька! Ага? Так? Ну — нате! Вот — я вор!.. Ты пойми: я, может быть, со зла вор-то... оттого я вор, что другим именем никто, никогда не догадался назвать меня... Назови ты... Наташа, ну?

Наташа (грустно). Не верю я как-то... никаким словам... И беспокоило мне сегодня... сердце щемит... будто жду я чего-то. Напрасно ты, Василий, разговор этот сегодня завел...

Пепел. Когда же? Я не первый раз говорю...

Наташа. И что же я с тобой пойду? Ведь... любить тебя... не очень я люблю... Иной раз — нравишься ты мне... а когда — глядеть на тебя тошно... Видно — не люблю я тебя... когда любят — плохого в любимом не видят... а я — вижу...

Пепел. Полюбишь — не бойся! Я тебя приучу к себе... ты только согласишься! Больше года я смотрел на тебя... вижу, ты девица строгая... хорошая... надежный человек... очень полюбил тебя!..

Василиса, нарядная, является в окне и, стоя у косяка, слушает.

Наташа. Так. Меня — полюбил, а сестру мою...

Пепел (смущенно). Ну, что она? Мало ли... эдаких-то...

Лука. Ты... ничего, девушка! Хлеба нету, — лебеду едят... если хлебушка-то нету...

Пепел (угрюмо). Ты... пожалей меня! Несладко живу... волчья жизнь — мало радует... Как в трясине тону... за что ни схватишься... все — гнилое... все — не держит... Сестра твоя... я думал, она... не то... Ежели бы она... не жадная до денег была — я бы ее ради... на все пошел!.. Лишь бы она — вся моя была... Ну, ей другого надо... ей — денег надо... и воли надо... а воля ей — чтобы развратничать. Она — помочь мне не может... А ты — как молодая елочка — и колешься, а сдержишь...

Лука. И я скажу — иди за него, девонька, иди! Он — парень ничего, хороший! Ты только почаще напоминай ему, что он хороший парень, чтобы он, значит, не забывал про это! Он! тебе — поверит... Ты только поговаривай ему: «Вася, мол, ты — хороший человек... не забывай!» Ты подумай, милая, куда тебе идти кроме-то? Сестра у тебя — зверь злой... про мужа про ее — и сказать нечего: хуже всяких слов старик... и вся эта здешняя жизнь... куда тебе идти? А парень — крепкий... Наташа. Идти некуда... я знаю... думала... Только вот... не верю я никому... А идти мне — некуда...

Пепел. Одна дорога... ну, на эту дорогу я не допущу... Лучше убью...

Наташа (улыбаясь). Вот... еще не жена я тебе, а уж хочешь убить.

Пепел (обнимает ее). Брось, Наташа! Все равно!..

Наташа (прижимаясь к нему). Ну... одно я тебе скажу, Василий... вот как перед богом говорю! — как только ты меня первый раз ударишь... или иначе обидишь... я — себя не пожалею... или сама удавлюсь, или...

Пепел. Пускай у меня рука отсохнет, коли я тебя трону!

Лука. Ничего, не сомневайся, милая! Ты ему нужнее; чем он — тебе...

Василиса (из окна). Вот и сосватались! Совет да любовь!

Наташа. Пришли!.. ох, господи! Видели... эх, Василий!

Пепел. Чего ты испугалась? Теперь никто не смеет тронуть тебя!

Василиса. Не бойся, Наталья! Он тебя бить не станет... Он ни бить, ни любить не может... я знаю!

Лука (негромко). Ах, баба... гадюка ядовитая...

Василиса. Он больше на словах удал...

Костылев (выходит). Наташка! Ты что тут делаешь, дармоедка? Сплетни плетешь? На родных жалуешься? А самовар не готов? На стол не собрано?

Наташа (уходя). Да ведь вы в церковь идти хотели...

Костылев. Не твое дело, чего мы хотели! Ты должна свое дело делать... что тебе приказано!

Пепел. Цыц, ты! Она тебе больше не слуга... Наталья, не ходи... не делай ничего!..

Наташа. Ты — не командуй... рано еще! (*Уходит.*)

Пепел (Костылеву). Будет вам! Поиздевались над человеком... достаточно! Теперь она — моя!

Костылев. Тво-оя? Когда купил? Сколько дал?

Василиса хохочет.

Лука. Вася! Ты — уйди...

Пепел. Глядите вы... веселые! Не заплакать бы вам!

Василиса. Ой, страшно! Ой, боюсь!

Лука. Василий — уйди! Видишь — подстрекает она тебя... подзадоривает — понимаешь?

Пепел. Да... ага! Врет... врешь! Не быть тому, чего тебе хочется!

Василиса. И того не будет, чего я не захочу, Вася!

Пепел (грозит ей кулаком). Поглядим!.. (*Уходит.*)

Василиса (исчезая из окна). Устрою я тебе свадьбу!

Костылев (подходит к Луке). Что, старичок?

Лука. Ничего, старичок!..

Костылев. Так... Уходишь, говорят?

Лука. Пора...

Костылев. Куда?

Лука. Куда глаза поведут...

Костылев. Бродяжить, значит... Неудобство, видно, имеешь на одном-то месте жить?

Лука. Под лежач камень — сказано — и вода не течет...

Костылев. То — камень. А человек должен на одном месте жить... Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили... Куда кто хочет — туда и ползет... Человек должен определять себя к месту... а не путаться зря на земле...

Лука. А если которому — везде место?

Костылев. Стало быть, он — бродяга... бесполезный человек... Нужно, чтоб от человека польза была... чтобы он работал...

Лука. Ишь ты!

Костылев. Да. А как же?.. Что такое... странник? Станный человек... не похожий на других... Ежели он — настояще странен... что-нибудь знает... что-нибудь узнал

эдакое... не нужное никому... может, он и правду узнал там... ну, не всякая правда нужна... да! Он — про себя ее храни... и — молчи! Ежели он настояще-то... странен... он — молчит! А то — так говорит, что никому не понятно... И он — ничего не желает, ни во что не мешается, людей зря не мутит... Как люди живут — не его дело... Он должен преследовать праведную жизнь... должен жить в лесах... в тущобах... невидимо! И никому не мешать, никого не осуждать... а за всех — молиться... за все мирские грехи и.... за мои, за твои... за все! Он для того и суеты мирской бежит... чтобы молиться. Вот как...

Пауза.

А ты... какой ты странник?.. Пачпорта не имеешь... Хороший человек должен иметь пачпорт... Все хорошие люди пачпорта имеют... да!..

Лука. Есть — люди, а есть — иные — и человеки...

Костылев. Ты... не мудри! Загадок не загадывай... Я тебя не глупее... Что такое — люди и человеки?

Лука. Где тут загадка? Я говорю — есть земля неудобная для посева... и есть урожайная земля... что ни посеешь на ней — родит... Так-то вот...

Костылев. Ну? Это к чему же?

Лука. Вот ты, примерно... Ежели тебе сам господь бог скажет: «Михайло! Будь человеком!..» Все равно — никакого толку не будет... как ты есть — так и останешься...

Костылев. А.... а — ты знаешь? — у жены моей дядя — полицейский? И если я...

Василиса (входит). Михаила Иваныч, иди чай пить.

Костылев (Луке). Ты... вот что: пошел-ка вон! долой с квартиры!..

Василиса. Да, убирайся-ка, старик!.. Больно у тебя язычок длинен... Да и кто знает?... может, ты беглый какой...

Костылев. Сегодня же чтобы духа твоего не было! А то я.... смотри!

Лука. Дядю позовешь? Позови дядю... Беглого, мол, изловил... Награду дядя получить может... копейки три...

Бубнов (в окне). Чем тут торгуют? За что — три копейки?

Лука. Меня вот грозятся продать...

Василиса (мужу). Идем...

Бубнов. За три копейки? Ну, гляди, старик... Они и за копейку продадут...

Костылев (Бубнову). Ты... вытаращился, ровно домовый из-под печки! (*Идет с женой.*)

Василиса. Сколько на свете темных людей... и жуликов разных!..

Лука. Приятного вам аппетита!..

Василиса (оборачиваясь). Попридержи язык... гриб поганый! (*Уходит с мужем за угол.*)

Лука. Сегодня в ночь — уйду...

Бубнов. Это — лучше... Вовремя уйти всегда лучше...

Лука. Верно говоришь...

Бубнов. Я — знаю Я, может, от каторги спасся тем, что вовремя ушел.

Лука. Ну?

Бубнов. Правда. Было так: жена у меня с мастером связалась... Мастер, положим, хороший... очень он ловко собак в енотов перекрашивал... кошек тоже — в кенгурий

мех... выхухоль... и всяко. Ловкач. Так вот — связалась с ним жена... и так они крепко друг за друга взялись, что — того и гляди — либо отравят меня, либо еще как со света сживут. Я было — жену бить... а мастер — меня... Очень злобно дрался! Раз — половину бороды выдрал у меня и ребро сломал. Ну и я тоже обозлился... однажды жену по башке железным аршином тяпнул... и вообще — большая война началась! Однако вижу — ничего эдак не выйдет... одолевают они меня! И задумал я тут — укокошить жену... крепко задумал. Но вовремя спохватился — ушел...

Лука. Эдак-то лучше! Пускай их там из собак енотов делают!..

Бубнов. Только... мастерская-то на жену была... и остался я — как видишь! Хоть, по правде говоря, пропилил бы я мастерскую... Запой у меня, видишь ли...

Лука. Запой? А-а!

Бубнов. Злющий запой! Как начну я заливать — весь пропьюсь, одна кожа остается... И еще — ленив я. Страсть как работать не люблю!..

Сатин и Актер входят, споря.

Сатин. Чепуха! Никуда ты не пойдешь... все это чертовщина! Старик! Чего ты надул в уши этому огарку?

Актер. Врешь! Дед! Скажи ему, что он — врет! Я — иду! Я сегодня — работал, мел улицу... а водки — не пил! Каково? Вот они — два пятиалтынных, а я — трезв!

Сатин. Нелепо, и всё тут! Дай, я пропью... а то — проиграю...

Актер. Пошел прочь! Это — на дорогу?

Лука (Сатину). А ты — почто его с толку сбиваешь?

Сатин. «Скажи мне, кудесник, любимец богов, — что сбудется в жизни со мною?» Продулся, брат, я — вдребезги! Еще не все пропало, дед, — есть на свете шулера поумнее меня!

Лука. Веселый ты, Костянтин... приятный!

Бубнов. Актер! Поди-ка сюда!

Актер идет к окну и садится пред ним на корточки. Вполголоса разговаривают.

Сатин. Я, брат, молодой — занятен был! Вспомнить хорошо!.. Рубаха-парень... плясал великолепно, играл на сцене, любил смешить людей... славно! Лука. Как же это ты свихнулся со стези своей, а?

Сатин. Какой ты любопытный, старикашка! Все бы тебе знать... а — зачем?

Лука. Понять хочется дела-то человеческие... а на тебя гляжу — не понимаю! Эдакий ты бравый... Костянтин... неглупый... и вдруг...

Сатин. Тюрьма, дед! Я четыре года семь месяцев в тюрьме отсидел... а после тюрьмы — нет ходу!

Лука. Ого-го! За что сидел-то?

Сатин. За подлеца... убил подлеца в запальчивости и раздражении. В тюрьме я и в карты играть научился...

Лука. А убил — из-за бабы?

Сатин. Из-за родной сестры... Однако — ты отвяжись! Я не люблю, когда меня расспрашивают... И..., все это было давно... сестра — умерла... уже девять лет... прошло... Славная, брат, была человечинка сестра у меня!..

Лука. Легко ты жизнь переносишь! А вот давеча тут... слесарь — так взвыл... а-а-яй!

Сатин. Клещ?

Лука. Он. «Работы, кричит, нету... ничего нету!»

Сатин. Привыкнет... Чем бы мне заняться?

Лука (тихо). Гляди! Идет...

Клещ идет — медленно, низко опустив голову.

Сатин. Эй, вдовец! Чего нюхалку повесил? Что хочешь выдумать?

Клещ. Думаю... чего делать буду? Инструмента — нет... всё — похороны съели!

Сатин. Я тебе дам совет: ничего не делай! Просто — обременяй землю!..

Клещ. Ладно... говори... Я — стыд имею пред людьми...

Сатин. Брось! Люди не стыдятся того, что тебе хуже собаки живется..., подумай — ты не станешь работать, я — не стану... еще сотни... тысячи, все! — понимаешь? все бросают работать! Никто, ничего не хочет делать — что тогда будет?

Клещ. С голоду подохнут все...

Лука (Сатину). Тебе бы с такими речами к бегунам идти... Есть такие люди, бегуны называются...

Сатин. Я знаю... они — не дураки, дедка!

Из окна Костылевых доносится крик Наташи: «За что? Постой... за что-о?»

Лука (беспокойно). Наташа? Она кричит? а? Ах ты...

В квартире Костылевых — шум, возня, звон разбитой посуды и визгливый крик Костылева:

«А-а.... еретица... шкуреха...»

Василиса. Стой... погоди... Я ее... вот... вот...

Наташа. Бьют! Убивают...

Сатин (кричит в окно). Эй, вы там!

Лука (суется). Василья бы... позвать бы Васю-то... ах, господи! Братцы... ребята...

Актер (убегая). Вот я.... сейчас его...

Бубнов. Ну и часто они ее бить стали...

Сатин. Идем, старик... свидетелями будем!

Лука (идет вслед за Сатиным). Какой я свидетель! Куда уж... Василья-то бы скорее... Э-эхма!..

Наташа. Сестра... сестрица... Ва-а-а...

Бубнов. Рот заткнули... пойду взгляну...

Шум в квартире Костылевых стихает, удаляясь, должно быть, в сени из комнаты.

Слышен крик старика: «Стон!»

Громко хлопает дверь, и этот звук, как топором, обрубает весь шум.

На сцене — тихо. Вечерний сумрак.

Клещ (безучастно сидит на дровнях, крепко потирает руки. Потом начинает что-то бормотать, сначала — невнятно, далее —) Как же?.. Надо жить... (Громко.) Пристанище надо... ну? Нет пристанища... ничего нет! Один человек... один, весь тут... Помощи нет... (Медленно, согнувшись, уходит.)

Несколько секунд зловещей тишины.

Потом — где-то в проходе рождается смутный шум, хаос звуков. Он растет, приближается.

Слышны отдельные голоса.

Василиса. Я ей — сестра! Пусти...

Костылев. Какое ты имеешь право?

Василиса. Каторжник...

Сатин. Ваську зови!.. скорее... Зоб — бей его!

Полицейский свисток.

Татарин (*выбегает. Правая рука у него на перевязи*). Какой-то закон есть — днем убивать?

Кривой Зоб (*за ним Медведев*). Эх, и дал я ему разочек!

Медведев. Ты — как можешь драться? Татарин. А ты? Твоя какая обязанность?

Медведев (*гонится за крючником*). Стой! Отдай свисток...

Костылев (*выбегает*). Абрам! Хватай... бери его! Убил...

Из-за угла выходят Квашня и Настя — они ведут под руки Наташу, растрепанную.

Сатин пятится задом, отталкивая Василису, которая, размахивая руками, пытается ударить сестру. Около нее прыгает как бесноватый Алешка, свистит ей в уши, кричит, воет.

Потом еще несколько оборванных фигур мужчин и женщин.

Сатин (*Василисе*). Куда? Сова, проклятая...

Василиса. Прочь, каторжник! Жизни решусь, а — растерзаю...

Квашня (*отводя Наташу*). А ты, Карповна, полно... постыдись! Что зверствуешь?

Медведев (*хватает Сатина*). Ага... попал!

Сатин. Зоб! Лупи их!.. Васька... Васька!

Все сталкиваются в кучу около прохода, у красной стены.

Наташу уводят направо и там усаживают на куче дерева.

Пепел (*выскочив из проулка, он молча сильными движениями расталкивает всех*). Где — Наталья? Ты...

Костылев (*скрываясь за углом*). Абрам! Хватай Ваську... братцы — помогите Ваську взять! Вора... грабителя...

Пепел. А ты... блудня старая! (*Сильно размахнувшись, бьет старика.*)

Костылев падает так, что из-за угла видна только верхняя половина его тела.

Пепел бросается к Наташе.

Василиса. Бейте Ваську! Голубчики... бейте вора!

Медведев (*кричит Сатину*). Не можешь... тут — дело семейное! Они — родные... а ты кто?

Пепел. Как... чем она тебя? Ножом?

Квашня. Гляди-ко, звери какие. Кипятком ноги девке сварили...

Настя. Самовар опрокинули...

Татарин. Может — нечаянно... надо — верно знать... нельзя зря говорить...

Наташа (*почти в обмороке*). Василий... возьми меня... схорони меня...

Василиса. Батюшки! Глядите-ка... смотрите-ка... помер! Убили...

Все толпятся у прохода, около Костылева.

Из толпы выходит Бубнов, идет к Василию.

Бубнов (*негромко*). Васька! Старик-то... того... готов!

Пепел (*смотрит на него, как бы не понимая*). Иди... зови... в больницу надо... ну, я рассчитаюсь с ними!

Бубнов. Я говорю — старика-то кто-то уложил...

Шум на сцене гаснет, как огонь костра, заливаемый водою. Раздаются отдельные возгласы вполголоса: «Неужто?», «Вот те раз!», «Ну-у?», «Уйдем-ка, брат!», «Ах, черт!», «Теперь — держись!», «Айда прочь, покуда полиции нет!» Толпа становится меньше.

Уходят Бубнов, Татарин. Настя и Квашня бросаются к трупу Костылева.

Василиса (поднимаясь с земли, кричит торжествующим голосом). Убили! Мужа моего... вот кто убил! Васька убил! Я — видела! Голубчики — я видела! Что — Вася? Полиция!

Пепел (отходит от Наташи). Пусти... прочь! (Смотрит на старика. Василисе.) Ну? рада? (Трогает труп ногой.) Окошел... старый пес! По-твоему вышло... А.... не прихлопнуть ли и тебя? (Бросается на нее.)

Сатин и Кривой Зоб быстро хватают его. Василиса — скрывается в проулке.

Сатин. Опомнись!

Кривой Зоб. Тпруу! Куда скачешь?

Василиса (появляясь). Что, Вася, мил друг? От судьбы — не уйдешь... Полиция! Абрам... свисти!

Медведев. Свисток сорвали, дьяволы...

Алешка. Вот он! (Свистит.)

Медведев бежит за ним.

Сатин (отводя Пепла к Наташе). Васька — не трусь! Убийство в драке... пустяки! Это — недорого стоит...

Василиса. Держите Ваську! Он убил... я видела!

Сатин. Я тоже раза три ударил старика... Много ли ему надо! Зови меня в свидетели, Васька...

Пепел. Мне... оправдываться не надо... Мне — Василису надо подвести... я же ее подведу! Она этого хотела... Она меня подговаривала мужа убить... подговаривала!..

Наташа (вдруг громко). А-а.... я поняла!.. Так, Василий?! Добрые люди! Они — заодно! Сестра моя и — он... они заодно! Они все это подстроили! Так, Василий?.. Ты... для того со мной давеча говорил... чтобы она все слышала? Люди добрые! Она — его любовница... вы — знаете... это — все знают... они — заодно! Она... это она его подговорила мужа убить... муж им мешал... и я — мешала... Вот — изувечили меня...

Пепел. Наталья! Что ты... что ты?!

Сатин. Вот так... черт!

Василиса. Врешь! Врет она... я.... он, Васька, убил!

Наташа. Они — заодно! Будь вы прокляты! Вы оба...

Сатин. Н-ну, игра!.. Держись, Василий! Утопят они тебя...

Кривой Зоб. Понять невозможно!.. Ах ты... дела! Пепел. Наталья! Неужто ты... вправду? Неужто веришь, что я.... с ней...

Сатин. Ей-богу, Наташа, ты... сообрази!

Василиса (в проулке). Убили мужа моего... ваше благородие... Васька Пепел, вор... он убил... господин пристав! Я — видела... все видели...

Наташа (мечется почти в беспамятстве). Люди добрые... сестра моя и Васька убили! Полиция — слушай... вот эта, сестра моя, научила... уговорила... своего любовника... вот он, проклятый! — они убили! Берите их... судите... Возьмите и меня... в тюрьму меня! Христа ради... в тюрьму меня!..

Занавес

Действие четвертое

Обстановка первого акта. Но комнаты Пепла — нет, переборки сломаны. И на месте, где сидел Клещ, — нет наковальни. В углу, где была комната Пепла, лежит Татарин, возится и стонет изредка. За столом сидит Клещ; он чинит гармонию, порою пробуя лады. На другом конце стола — Сатин, Барон и Настя. Пред ними бутылка водки, три бутылки пива, большой ломоть черного хлеба. На печи возится и кашляет Актер.

Ночь. Сцена освещена лампой, стоящей посреди стола. На дворе — ветер.

Клещ. Д-да... он во время суматохи этой и пропал...

Барон. Исчез от полиции... яко дым от лица огня...

Сатин. Тако исчезают грешники от лица праведных!

Настя. Хороший был старичок!.. А вы... нелюди... вы — ржавчина!

Барон (пьет). За ваше здоровье, леди!

Сатин. Любопытный старикан... да! Вот Настёнка — влюбилась в него...

Настя. И влюбилась... и полюбила! Верно! Он — все видел... все понимал...

Сатин (смеясь). И вообще... для многих был... как мякиш для беззубых...

Барон (смеясь). Как пластырь для нарывов...

Клещ. Он... жалостливый был... у вас вот... жалости нет...

Сатин. Какая польза тебе, если я тебя пожалею?..

Клещ. Ты — можешь... не то, что пожалеть можешь... ты умеешь не обижать...

Татарин (садится на нарах и качает свою больную руку, как ребенка). Старик хорош был... закон душе имел! Кто закон душа имеет — хорош! Кто закон терял — пропал!..

Барон. Какой закон, князь?

Татарин. Такой... Разный... Знаешь какой...

Барон. Дальше!

Татарин. Не обижай человека — вот закон!

Сатин. Это называется «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»...

Барон. И еще — «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» ...

Татарин. Коран называет... ваш коран должна быть закон... Душа — должен быть коран... да!

Клещ (пробуя гармонию). Шипит, дьявол!.. А князь верно говорит... надо жить — по закону... по евангелию...

Сатин. Живи...

Барон. Попробуй...

Татарин. Магомет дал коран, сказал: «Вот — закон! Делай, как написано тут!» Потом придет время — коран будет мало... время даст свой закон, новый... Всякое время дает свой закон...

Сатин. Ну да... пришло время и дало «Уложение о наказаниях» ... Крепкий закон... не скоро износишь!

Настя (ударяет стаканом по столу). И чего... зачем я живу здесь... с вами? Уйду... пойду куда-нибудь... на край света! Барон. Без башмаков, леди?

Настя. Голая! На четвереньках поползу!

Барон. Это будет картинно, леди... если на четвереньках...

Настя. Да, и поползу! Только бы мне не видеть твоей рожи... ах, опротивело мне все! Вся жизнь... все люди!..

Сатин. Пойдешь — так захвати с собой Актера... Он туда же собирается... ему известно стало, что всего в полуверсте от края света стоит лечебница для органовов...

Актер (высовываясь из печи). Орга-ни-змо-в, дурак!

Сатин. Для органовов, отравленных алкоголем...

Актер. Да! Он — уйдет! Он уйдет... увидите!

Барон. Кто — он, сэр?

Актер. Я!

Барон. Мерсі, служитель богини... как ее? Богиня драм, трагедии... как ее звали?

Актер. Муза, болван! Не богиня, а — муза!

Сатин. Лахеза... Гера... Афродита... Атропа... черт их разберет! Это все старик... навинтил Актера... понимаешь, Барон?

Барон. Старик — глуп...

Актер. Невежды! Дикари! Мель-по-ме-на! Люди без сердца! Вы увидите — он уйдет! «Обжирайтесь, мрачные умы» ... стихотворение Беранжера... да! Он — найдет себе место... где нет... нет...

Барон. Ничего нет, сэр?

Актер. Да! Ничего! «Яма эта... будет мне могилой... умираю, немощный и хилый!» Зачем вы живете? Зачем?

Барон. Ты! Кин, или гений и беспутство! Не ори!

Актер. Врешь! Буду орать!

Настя (поднимая голову со стола, взмахивает руками). Кричи! Пусть слушают!

Барон. Какой смысл, леди?

Сатин. Оставь их, Барон! К черту!.. Пускай кричат... разбивают себе головы... пускай! Смысл тут есть!.. Не мешай человеку, как говорил старик... Да, это он, старая дрожжа, проквасил нам сожителей...

Клещ. Поманил их куда-то... а сам — дорогу не сказал...

Барон. Старик — шарлатан...

Настя. Врешь! Ты сам — шарлатан!

Барон. Цыц, леди!

Клещ. Правды он... не любил, старик-то... Очень против правды восставал... так и надо! Верно — какая тут правда? И без нее — дышать нечем... Вон князь... руку-то раздавил на работе... отпилить напрочь руку-то придется, слышь... вот те и правда!

Сатин (ударяя кулаком по столу). Молчать! Вы — все — скоты! Дубье... молчать о старике! (Спокойнее.) Ты, Барон, — всех хуже!.. Ты — ничего не понимаешь... и — врешь! Старик — не шарлатан! Что такое — правда? Человек — вот правда! Он это понимал... вы — нет! Вы — тупы, как кирпичи... Я — понимаю старика... да! Он врал... но — это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... я — знаю! я — читал! Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут!.. Есть ложь утешительная, ложь, примиряющая... ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего... и обвиняет умирающих с голода... Я — знаю ложь! Кто слаб душой... и кто живет чужими соками, — тем ложь нужна... одних она поддерживает, другие —

прикрываются ею... А кто — сам себе хозяин..., кто независим и не жрет чужого — зачем тому ложь? Ложь — религия рабов и хозяев... Правда — бог свободного человека!

Барон. Браво! Прекрасно сказано! Я — согласен! Ты говоришь... как порядочный человек!

Сатин. Почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди... говорят, как шулера? Да... я много позабыл, но — еще кое-что знаю! Старик? Он — умница!.. Он... подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... Выпьем, за его здоровье! Наливай...

Настя наливает стакан пива и дает Сатину.

(Усмехаясь.) Старик живет из себя... он на все смотрит своими глазами. Однажды я спросил его: «Дед! зачем живут люди?» ... *(Стараясь говорить голосом Луки и подражая его манерам.)* «А — для лучшего люди-то живут, милачок! Вот, скажем, живут столяры и всё — хлам-народ... И вот от них рождается столяр... такой столяр, какого подобного и не видала земля, — всех превысил, и нет ему во столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает... и сразу дело на двадцать лет вперед двигает... Так же и все другие... слесаря, там... сапожники и прочие рабочие люди... и все крестьяне... и даже господа — для лучшего живут! Всяк думает, что для себя проживает, а выходит, что для лучшего! По сту лет... а может, и больше — для лучшего человека живут!»

Настя упорно смотрит в лицо Сатина. Клещ перестает работать над гармонией и тоже слушает. Барон, низко наклонив голову, тихо бьет пальцами по столу.

Актер, высунувшись с печи, хочет осторожно слезть на нары.

«Все милачок, все, как есть, для лучшего живут! Потому-то всякого человека и уважать надо... неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и чего сделать может... может, он родился-то на счастье нам... для большой нам пользы?.. Особливо же деток надо уважать... ребятишек! Ребятишкам — простор надобен! Деткам-то жить не мешайте... Деток уважьте!» *(Смеется тихо.)*

Пауза.

Барон (задумчиво). Мм-да... для лучшего? Это... напоминает наше семейство... Старая фамилия... времен Екатерины... дворяне... вояки!.. выходцы из Франции... Служили, поднимались всё выше... При Николае Первом дед мой, Густав Дебиль... занимал высокий пост... богатство... сотни крепостных... лошади... повара...

Настя. Врешь! Не было этого!

Барон (вскакивая). Что-о? Н-ну... дальше?!

Настя. Не было этого!

Барон (кричит). Дом в Москве! Дом в Петербурге! Кареты... кареты с гербами!

Клещ берет гармонию, встает и отходит в сторону, откуда наблюдает за сценой.

Настя. Не было!

Барон. Цыц! Я говорю... десятки лакеев!..

Настя (с наслаждением). Н-не было!

Барон. Убью!

Настя (приготавливаясь бежать). Не было карет!

Сатин. Брось, Настёнка! Не зли его...

Барон. Подожди... ты, дрянь! Дед мой...

Настя. Не было деда! Ничего не было!

Сатин хохочет.

Барон (*усталый от гнева, садится на скамью*). Сатин, скажи ей... шлюхе... ты — тоже смеешься? Ты... тоже — не веришь? (*Кричит с отчаяньем, ударяя кулаками по столу.*) Было, черт вас возьми!

Настя (*торжествуя*). А-а, взвыл? Понял, каково человеку, когда ему не верят?

Клещ (*возвращаясь к столу*). Я думал — драка будет...

Татарин. А-ах, глупы люди! Очень плохо!

Барон. Я.... не могу позволить издеваться надо мной! У меня — доказательства есть... документы, дьявол!

Сатин. Брось их! И забудь о каретах дедушки... в карете прошлого — никуда не уедешь...

Барон. Как она смеет, однако!

Настя. Ска-ажите! Как смею!..

Сатин. Видишь — смеет! Чем она хуже тебя? Хотя у нее в прошлом, уж, наверное, не было не только карет и — дедушки, а даже отца с матерью...

Барон (*успокаиваясь*). Черт тебя возьми... ты... умеешь рассуждать спокойно... А у меня... кажется, нет характера...

Сатин. Заведи. Вещь — полезная...

Пауза.

Настя! Ты ходишь в больницу?

Настя. Зачем?

Сатин. К Наташе?

Настя. Хватился! Она — давно вышла... вышла и — пропала! Нигде ее нет...

Сатин. Значит — вся вышла...

Клещ. Интересно — кто кого крепче всадит? Васька — Василису, или она его?

Настя. Василиса — вывернется! Она — хитрая. А Ваську — в каторгу пошлют...

Сатин. За убийство в драке — только тюрьма...

Настя. Жаль. В каторгу — лучше бы... Всех бы вас... в каторгу... смести бы вас, как сор... куда-нибудь в яму!

Сатин (*удивленно*). Что ты? Свесилась?

Барон. Вот я ей в ухо дам... за дерзости!

Настя. Попробуй! Тронь!

Барон. Я — попробую!

Сатин. Брось! Не тронь... не обижай человека! У меня из головы вон не идет... этот старик! (*Хохочет.*) Не обижай человека!.. А если меня однажды обидели и — на всю жизнь сразу! Как быть? Простить? Ничего. Никому...

Барон (*Насте*). Ты должна понимать, что я — не чета тебе! Ты... мразь!

Настя. Ах ты несчастный! Ведь ты... ты мной живешь, как червь — яблоком!

Дружный взрыв хохота мужчин.

Клещ. Ах... дура! Яблочко!

Барон. Нельзя... сердиться... вот идиотка!

Настя. Смеетесь? Врете! Вам — не смешно!

Актер (мрачно). Катай их!

Настя. Кабы я.... могла! я бы вас (берет со стола чашку и бросает на пол) — вот как!

Татарин. Зачем посуда бить? Э-э.... болванка!..

Барон (вставая). Нет, я ее сейчас... научу манерам!

Настя (убегая). Черт вас возьми!

Сатин (вслед ей). Эй! Полно! Кого ты пугаешь? В чем дело, наконец?

Настя. Волки! Чтоб вам издохнуть! Волки!

Актер (мрачно). Аминь!

Татарин. У-у! Злой баба — русский баба! Дерзкий... вольна! Татарка — нет!

Татарка — закон знает!

Клещ. Трепку ей надо дать...

Барон. М-мерзавка!

Клещ (пробуя гармонию). Готова! А хозяина ее — все нет... Горит парнишка...

Сатин. Теперь — выпей!

Клещ. Спасибо! Да и на боковую пора...

Сатин. Привыкаешь к нам?

Клещ (выпив, отходит в угол к нарам). Ничего... Везде — люди... Сначала — не видишь этого... потом — поглядишь, окажется, все люди... ничего!

Татарин расстилает что-то на нарах, становится на колени и — молится.

Барон (указывая Сатину на Татарина). Гляди!

Сатин. Оставь! Он — хороший парень... не мешай! (Хохочет.) Я сегодня — добрый... черт знает почему!..

Барон. Ты всегда добрый, когда выпьешь... И умный...

Сатин. Когда я пьян... мне все нравится. Н-да... Он — молится? Прекрасно! Человек может верить и не верить... это его дело! Человек — свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум — человек за все платит сам, и потому он — свободен!.. Человек — вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они... нет! — это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном! (Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека.) Понимаешь? Это — огромно! В этом — все начала и концы... Всё — в человеке, всё для человека! Существует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга! Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо! Выпьем за человека, Барон! (Встает.) Хорошо это... чувствовать себя человеком!.. Я — арестант, убийца, шулер... ну, да! Когда я иду по улице, люди смотрят на меня как на жулика... и сторонятся, и оглядываются... и часто говорят мне — «Мерзавец! Шарлатан! Работай!» Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? (Хохочет.) Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми... Не в этом дело, Барон! Не в этом дело! Человек — выше! Человек — выше сытости!..

Барон (качая головой). Ты — рассуждаешь... Это — хорошо... это, должно быть, греет сердце... У меня — нет этого... я — не умею! (Оглядывается и — тихо, осторожно.) Я, брат, боюсь... иногда. Понимаешь? Трушу... Потому — что же дальше?

Сатин (уходит). Пустяки! Кого бояться человеку?

Барон. Знаешь... с той поры, как я помню себя... у меня в башке стоит какой-то туман. Никогда и ничего не понимал я. Мне... как-то неловко... мне кажется, что я всю жизнь только переодевался... а зачем? Не понимаю! Учился — носил мундир дворянского института... а чему учился? Не помню... Женился — одел фрак, потом — халат... а жену взял скверную и — зачем? Не понимаю... Прожил все, что было, — носил какой-то серый пиджак и рыжие брюки... а как разорился? Не заметил... Служил в казенной палате... мундир, фуражка с кокардой... растратил казенные деньги, — недели на меня арестантский халат... потом — одел вот это... И всё... как во сне... а? Это... смешно?

Сатин. Не очень... скорее — глупо...

Барон. Да... и я думаю, что глупо... А.... ведь зачем-нибудь я родился... а?

Сатин (смеясь). Вероятно... Человек рождается для лучшего! (*Кивая головой.*) Так... хорошо!

Барон. Эта... Настька!.. Убежала... куда? Пойду, посмотрю... где она? Все-таки... она... (*Уходит.*)

Пауза.

Актер. Татарин!

Пауза.

Князь!

Татарин поворачивает голову.

За меня... помолись...

Татарин. Чего?

Актер (тише). Помолись... за меня!..

Татарин (помолчав). Сам молись...

Актер (быстро слезает с печи, подходит к столу, дрожащей рукой наливает водки, пьет и — почти бежит — в сени). Ушел!

Сатин. Эй ты, сикамбр! Куда? (*Свистит.*)

Входят — Медведев в женской ватной кофте и Бубнов; оба — выпивши, но не очень. В одной руке Бубнова — связка кренделей, в другой — несколько штук воблы, под мышкой — бутылка водки, в кармане пиджака — другая.

Медведев. Верблюд — он вроде... осла! Только без ушей...

Бубнов. Брось! Ты сам — вроде осла.

Медведев. Ушей вовсе нет у верблюда... он — ноздрей слышит...

Бубнов (Сатину). Друг! Я тебя искал по всем трактирам-кабакам! Возьми бутылку, у меня все руки заняты!

Сатин. А ты — положи крендели на стол — одна рука освободится...

Бубнов. Верно! Ах ты... Бутарь, гляди! Вот он, а? Умница!

Медведев. Жулики — все умные... я знаю! Им без ума — невозможно. Хороший человек, он — и глупый хорош, а плохой — обязательно должен иметь ум. Но насчет верблюда, ты — неверно... он — животная ездовая... рогов у него нет... и зубов нет...

Бубнов. Где — народ? Отчего здесь людей нет? Эй, вылезай... я — угощаю! Кто в углу?

Сатин. Скоро ты пропьешься? Чучело!

Бубнов. Я — скоро! В этот раз капитал я накопил — коротенький... Зоб! Где Зоб?

Клещ (подходя к столу). Нет его...

Бубнов. У-у-ррр! Барбос! Бррю, брлю, брлю! Индюк! Не лай, не ворчи! Пей, гуляй, нос не вешай... Я — всех угощаю! Я, брат, угощать люблю! Кабы я был богатый... я бы... бесплатный трактир устроил! Ей-богу! С музыкой, и чтобы хор певцов... Приходи, пей, ешь, слушай песни... отводи душу! Бедняк-человек... айда ко мне в бесплатный трактир! Сатин! Я бы... тебя бы... бери половину всех моих капиталов! Вот как!

Сатин. Ты мне сейчас отдай все...

Бубнов. Весь капитал? Сейчас? На! Вот — рубль... вот еще... двугривенный... пятаки... семишники... все!

Сатин. Ну и ладно! У меня — целее будет... Сыграю я на них...

Медведев. Я — свидетель... отданы деньги на сохранение... числом — сколько?

Бубнов. Ты? Ты — верблюды... Нам свидетелей не надо...

Алешка (входит босой). Братцы! Я ноги промочил!

Бубнов. Иди — промочи горло... Только и всего! Милый ты... поёшь ты и играешь, очень это хорошо! А — пьешь — напрасно! Это, брат, вредно... пить — вредно!..

Алешка. По тебе вижу! Ты — только пьяный и похож на человека... Клещ! Гармошку — починил? (Поет, приплясывая.)

Эх, кабы мое рыло

Не красиво было —

Так меня бы кума моя

Вовсе не любила!

Озяб я, братцы! Х-холодно!

Медведев. Мм... а если спросить — кто такая кума?

Бубнов. Отстань! Ты, брат, теперь — тю-тю! Ты уж не бутошник — кончено! И не бутошник, и не дядя...

Алешка. А просто — теткин муж!

Бубнов. Одна твоя племянница — в тюрьме, другая — помирает...

Медведев (гордо). Врешь! Она — не помирает, она у меня без вести пропала!

Сатин хохочет.

Бубнов. Все равно, брат! Человек без племянниц — не дядя!

Алешка. Ваше превосходительство! Отставной козы барабанщик!

У кумы — есть деньги,

У меня — ни гроша!

Зато я веселый мальчик.

Зато я хороший!

Холодно!

Входит Зоб; потом — до конца акта — еще несколько фигур мужчин и женщин.

Они раздеваются, укладываются на нары, ворчат.

Кривой Зоб. Бубнов! Ты чего сбежал?

Бубнов. Иди сюда! Садись... запоем мы, брат! Любимую мою... а?

Татарин. Ночь — спать надо! Песня петь днем надо!

Сатин. Ну, ничего, князь! Ты — иди сюда!

Татарин. Как — ничего? Шум будет... когда песня поют, шум бывает...

Бубнов (идя к нему). Князь! Что — рука? Отрезали тебе руку?

Татарин. Зачем? Погодим... может — не надо резать.... Рука — не железный, резать — недолго...

Кривой Зоб. Яман твое дело, Асанка! Без руки ты — никуда не годишься! Наш брат по рукам да по спине ценится... Нет руки — и человека нет! Табак твое дело!.. Иди водку пить... больше никаких!

Квашня (входит). Ах, жители вы мои милые! На дворе-то, на дворе-то! Холод, слякоть... Бутошник мой здесь? Бутарь!

Медведев. Я!

Квашня. Опять мою кофту таскаешь? И как будто ты... немножко того, а? Ты что же это?

Медведев. По случаю именин... Бубнов... и — холодно... слякоть!

Квашня. Ты гляди у меня... слякоть! Не балуй... Иди-ка спать...

Медведев (уходит в кухню). Спать — я могу... я хочу... пора!

Сатин. Ты чего... больно строга с ним?

Квашня. Нельзя, дружок, иначе. Подобного мужчину надо в строгости держать. Я его в сожители взяла, — думала, польза мне от него будет... как он — человек военный, а вы — люди буйные... мое же дело — бабье... А он — пить! Это мне ни к чему!

Сатин. Плохо ты выбрала помощника...

Квашня. Нет — лучше-то... Ты со мной жить не захочешь... ты вон какой! А и станешь жить со мной — не больше недели сроку... проиграешь меня в карты со всей моей требухой!

Сатин (хохочет). Это верно, хозяйка! Проиграю...

Квашня. То-то! Алешка!

Алешка. Вот он — я!

Квашня. Ты — что про меня болтаешь?

Алешка. Я? Все! Все, по совести. Вот, говорю, баба! Удивительная! Мяса, жиру, кости — десять пудов, а мозгу — золотняка нету!

Квашня. Ну, это ты врешь! Мозг у меня даже очень есть... Нет, ты зачем говоришь, что я бутошника моего бью?

Алешка. Я думал, ты его била, когда за волосы таскала...

Квашня (смеясь). Дурак! А ты — будто не видишь. Зачем сор из избы выносить?.. И, опять же, обидно ему... Он от твоего разговору пить начал...

Алешка. Стало быть, правду говорят, что и курица пьет!

Сатин, Клещ — хохочут.

Квашня. У, зубоскал! И что ты за человек, Алешка?

Алешка. Самый первый сорт человек! На все руки! Куда глаз мой глянет, туда меня и тянет!

Бубнов (около нар Татарина). Идет! Все равно — спать не дадим! Петь будем... всю ночь! Зоб!

Кривой Зоб. Петь? Можно...

Алешка. А я — подыграю!

Сатин. Послушаем!

Татарин (улыбаясь). Ну, шайтан Бубна... подноси вина! Пить будим, гулять будим, смерть пришел — помирать будим!

Бубнов. Наливай ему, Сатин! Зоб, садись! Эх, братцы! Много ли человеку надо? Вот я — выпил и — рад! Зоб!.. Затягивай... любимую! Запою... заплачу!..

Кривой Зоб (запевает).

Со-олнце всходит и захо-оди-ит...

Бубнов (подхватывая).

А а в тюрьме моей темно-о!

Дверь быстро отворяется.

Барон (стоя на пороге, кричит). Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... там... Актер... удавился!

Молчание. Все смотрят на Барона.

Из-за его спины появляется Настя и медленно, широко раскрыв глаза, идет к столу.

Сатин (негромко). Эх... испортил песню... дур-рак!

Занавес

конец 1901 г. — начало 1902 г.

Иван Алексеевич Бунин

Рассказ «Холодная осень»

В июне того года он гостил у нас в имении — всегда считался у нас своим человеком: покойный отец его был другом и соседом моего отца. Пятнадцатого июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, и сказал:

— Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война!

На Петров день к нам съехалось много народу, — были именины отца, — и за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну...

В сентябре он приехал к нам всего на сутки — проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал:

— Удивительно ранняя и холодная осень!

Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек, — мы знали какой, — и это было трогательно и жутко. Отец спросил:

— Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?

— Да, если позволите, утром, — ответил он. — Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому.

Отец легонько вздохнул:

— Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра...

Мама встала и перекрестила своего будущего сына, он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой, — я вздумала раскладывать пасьянс, — он молча ходил из угла в угол, потом спросил:

— Хочешь, пройдемся немного?

На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась:

— Хорошо...

Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:

Какая холодная осень!

Надень свою шаль и капот...

— Капота нет, — сказала я. — А как дальше?

— Не помню. Кажется, так:

Смотри — меж чернеющих сосен

Как будто пожар восстает...

— Какой пожар?

— Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах: «Надень свою шаль и капот...» Времена наших дедушек и бабушек... Ах, боже мой, боже мой!

— Что ты?

— Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя...

Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому:

— Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер...

Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.

— Как блестят глаза, — сказал он. — Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?

Я подумала: «А вдруг правда убьют? и неужели я все-таки забуду его в какой-то короткий срок — ведь все в конце концов забывается?» И поспешно ответила, испугавшись своей мысли:

— Не говори так! Я не переживу твоей смерти!

Он, помолчав, медленно выговорил:

— Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.

Я горько заплакала...

Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером, — в нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед, — и мы перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том оцепении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместность между нами и окружающим нас радостным, солнечным, сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой и зарыдать ли мне или запеть во весь голос...

Убили его — какое странное слово! — через месяц, в Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговли на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной: «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папах и

расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня, — то какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет семнадцати, тоже пробиравшимся к добровольцам, чуть не две недели, — я бабой, в лаптях, он в истертом казачьем зипуне, с отпущенной черной с проседью бородой, — и пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, в ураган, отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое: племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца... Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, служила в шоколадном магазине возле Мадлэн, холеными ручками с серебряными ноготками завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками; а я жила и все еще живу в Ницце чем бог пошлет... Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году — и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня!

Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни — остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня — с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне...» Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.

3 мая 1944г.

Рассказ «Господин из Сан-Франциско»

Господин из Сан-Франциско — имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил — ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения.

Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук, — китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит! — и наконец увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо: не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом и рассматриваешь фрески рядом с миллиардером.

Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, — любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной; карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетке, третьи тому, что принято называть флиртом, а четвертые — стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, и тотчас же стучаются белыми комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям господним приехать в Рим, чтобы слушать там Miserere¹; входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония, — разумеется, уже на обратном пути... И все пошло сперва прекрасно. Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много, пароход — знаменитая «Атлантида» — был похож на громадный отель со всеми удобствами, — с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой, — и жизнь на нем протекала весьма размеренно: вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в

¹ «Смилуйся» (лат.) — католическая молитва.

тумане; накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шепфльборд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать — подкрепляться бутербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху; все палубы были заставлены тогда длинными камышовыми креслами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в пятом часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньями; в семь повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования, венец его... И тут господин из Сан-Франциско спешил в свою богатую кабину — одеваться.

По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев; на баке поминутно взывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой, сирена, но немногие из обедающих слышали сирену — ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в двухсветной зале, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью — крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная; сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью — дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных... Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, — в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, — задрав ноги, до малиновой красноты лиц накуривались гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах, с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь

дрожал, одолевая и ее, и эти горы, — точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады, — в смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода, — та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнахпряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго — и музыка настойчиво, в сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же... Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья: он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле.

В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну; на борту «Атлантиды» появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес, — наследный принц одного азиатского государства, путешествующий инкогнито, человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный — тем, что крупные усы сквозили у него как у мертвого, в общем же милый, простой и скромный. В Средиземном море шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую, при ярком блеске и совершенно чистом небе, развела весело и бешено летевшая навстречу трамонтана... Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманился: близилась земля, показались Иския, Капри, в бинокль уже виден был кусками сахара насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь... Многие леди и джентльмены уже надели легкие, мехом вверх шубки; безответные, всегда шепотом говорящие бои-китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами, исподволь вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры... Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером, по счастливой случайности, представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая; он по росту казался среди других мальчиком, он был совсем не хорош собой и странен, — очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована, — но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит; сердце ее билось от непонятого восторга перед ним: все, все в нем было не такое, как у прочих, — его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь; даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда таили в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско, в серых гетрах на

ботинках, все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую собачку и все разговаривавшую с нею. И дочь, в какой-то смутной неловкости, старалась не замечать его.

Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницы. Так было всюду, так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался; музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша, гигант-командир, в парадной форме, появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам. А когда «Атлантида» вошла наконец в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, — сколько портье и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулось к нему навстречу с предложением услуг! И он ухмылялся этим оборванцам, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски:

— Go away!⁰ Via!⁰

Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку: рано утром — завтрак в сумрачной столовой, облачное, мало обещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля; потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувий, до подножия окутанный сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу, по набережной, крохотных осликов в двуколках и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой и вызывающей музыкой; потом — выход к автомобилю и медленное движение по людным узким и сырým коридорам улиц, среди высоких, многооконных домов, осмотр мертвенно-чистых и ровно, приятно, но скучно, точно снегом, освещенных музеев или холодных, пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же: величавый вход, закрытый тяжелой кожаной завесой, а внутри — огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и чье-нибудь «Снятие со креста», непременно знаменитое; в час — второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта и где однажды дочери господина из Сан-Франциско чуть не сделалось дурно: ей показалось, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме; в пять — чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов; а

⁰ Прочь! (англ.)

⁰ Идти! (итал.)

там снова приготовления к обеду — снова мощный, властный гул гонга по всем этажам, снова вереницы, шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, Снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой, и красные куртки музыкантов на эстраде, и черная толпа лакеев возле метрдотеля, с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп... Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сладостями, и фруктами, что к одиннадцати часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков.

Однако декабрь «выдался» не совсем удачный: портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они и не запомнят, хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что всюду происходит что-то ужасное: на Ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит, из Палермо туристы, спасаясь от стужи, разбегаются... Утреннее солнце каждый день обманывало: с полудня неизменно серело и начинал сеять дождь да все гуще и холоднее; тогда пальмы у подъезда отеля блестели жестью, город казался особенно грязным и тесным, музеи чересчур однообразными, сигарные окурки толстяков-извозчиков в резиновых, крыльями развевающихся по ветру накидках — нестерпимо вонючими, энергичное хлопанье их бичей над тонкошеими клячами явно фальшивым, обувь синьоров, разметающих трамвайные рельсы, ужасною, а женщины, шлепающие по грязи, под дождем с черными раскрытыми головами, — безобразно коротконогими; про сырость же и вонь гнилой рыбой от пенящегося у набережной моря и говорить нечего. Господин и госпожа из Сан-Франциско стали по утрам ссориться; дочь их то ходила бледная, с головной болью, то оживала, всем восхищалась и была тогда и мила, и прекрасна: прекрасны были те нежные, сложные чувства, что пробудила в ней встреча с некрасивым человеком, в котором текла необычная кровь, ибо ведь, в конце концов, и не важно, что именно пробуждает девичью душу, — деньги ли, слава ли, знатность ли рода... Все уверяли, что совсем не то в Сорренто, на Капри — там и теплей, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах Лазурного Грота и послушав абруццких волынщиков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих хвалы деде Марии, поселиться в Сорренто.

В день отъезда, — очень памятный для семьи из Сан-Франциско! — даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью моря. Острова Капри совсем не было видно — точно его никогда и не существовало на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны на сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех: ее несколько раз одолевало, ей казалось, что она умирает, а горничная, прибежавшая к ней с тазиком, — уже многие годы изо дня в день качавшаяся на этих волнах и в зной и в стужу и все-

таки неутомимая, — только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине, в широком пальто и большом картузе, не разжимал челюстей всю дорогу; лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжко болела: последние дни, благодаря дурной погоде, он пил по вечерам слишком много и слишком много любовался «живыми картинами» в некоторых притонах. А дождь сек вдребезжающие стекла, на диваны с них текло, ветер с воем ломил в мачты и порою, вместе с налетавшей волной, клал пароходик совсем набок, и тогда с грохотом катилось что-то вниз. На остановках, в Кастелламаре, в Сорренто, было немного легче; но и тут размахивало страшно, берег со всеми своими обрывами, садами, пиниями, розовыми и белыми отелями, и дымными, курчаво-зелеными горами летал за окном вниз и вверх, как на качелях; в стены стукались лодки, сырой ветер дул в двери, и, ни на минуту не смолкая, пронзительно вопил с качавшейся барки под флагом гостиницы «Royal» картавый мальчишка, заманивавший путешественников. И господин из Сан-Франциско, чувствуя себя так, как и подобало ему, — совсем стариком, — уже с тоской и злобой думал обо всех этих жадных, воняющих чесноком людишках, называемых итальянцами; раз во время остановки, открыв глаза и приподнявшись с дивана, он увидел под скалистым отвесом кучу таких жалких, насквозь проплесневевших каменных домишек, наклепленных друг на друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей, что, вспомнив, что это и есть подлинная Италия, которой он приехал наслаждаться, почувствовал отчаяние... Наконец, уже в сумерках, стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножья красными огоньками, ветер стал мягче, теплей, благовонней, по смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани... Потом вдруг загремел и шлепнулся в воду якорь, наперебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников — и сразу стало на душе легче, ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться... Через десять минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через пятнадцать ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и с жужжанием потянулась вверх по откосу, среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых, корявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсиновых деревьев, с блеском оранжевых плодов и толстой гляцевитой листвы скользивших вниз, под гору, мимо открытых окон вагончика... Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой, особый запах есть у каждого ее острова!

Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. На верху горы, на площадке фюникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания, — несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах и совсем не щедрых на траты. Господин из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся и от тех, и от других, был сразу замечен.

Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки, по-птичьему засвистала и закувыркалась через голову орава мальчишек — и как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско к какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая улочка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху, впереди. И все было похоже на то, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывавший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль.

Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско: он вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головой. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то сейчас же и померкло его удивление: шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту: сердце ее вдруг сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, темном острове...

Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа — Рейс XVII. И гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную, бельгийку, с тонкой и твердой от корсета талией и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, и самого видного из лакеев, угольно-черного, огнеглазого сицилийца, и самого расторопного коридорного, маленького и полного Луиджи, много переменившего подобных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз-метрдотель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнения, доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазаны и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско, — так закачал его этот дрянной итальянский пароходишко, — но он не спеша, собственноручно, хотя с непривычки и не совсем ловко, закрыл хлопнувшее при входе метрдотеля окно, из которого пахло запахом дальней кухни и мокрых цветов в саду, и с неторопливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подальше от дверей, в самой глубине залы, что пить они будут вино местное, и каждому его слову метрдотель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско и что все будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил:

— Все, сэр?

И, получив в ответ медлительное «yes»⁰, прибавил, что сегодня у них в вестибюле тарантелла — танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии и «всему миру туристов».

— Я видел ее на открытках, — сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. — А этот Джузеппе — ее муж?

— Двоюродный брат, сэр, — ответил метрдотель.

И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы.

А затем он снова стал точно к венцу готовиться: повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска, мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки — из комнат его жены и дочери. И Луиджи, в своем красном переднике, с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез смешивший горничных, пробежавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув в дверь костяшками, с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью спрашивал:

— На sonato, signore?⁰

И из-за двери слышался неспешный и скрипучий, обидно вежливый голос:

— Yes, come in...⁰

Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий испытывший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений.

Побрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и прибрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело с полнеющей от усиленного питания талией кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями — черные шелковые носки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную, с выпятившейся грудью рубашку, вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним, кончикам пальцев было очень больно, запонка порой крепко кусала дряблую кожу в углублении под кадыком, но он был настойчив и наконец, с сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло, не в меру тугого воротничка, таки доделал дело — и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах.

⁰ да (англ.).

⁰ Вы звонили, синьор? (итал.)

⁰ Да, входите... (англ.)

— О, это ужасно! — пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно; потом привычно и внимательно оглядел свои короткие, с подагрическими затвердениями в суставах пальцы, их крупные и выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением: — Это ужасно...

Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг. И, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале... Эта Кармелла, смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку, в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно, подумал он. И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру к соседней, жениной, громко спросил, скоро ли они?

— Через пять минут! — звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос.

— Отлично, — сказал господин из Сан-Франциско.

И не спеша пошел по коридорам и по лестницам, устланным красными коврами, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, поспешила впереди него изо всех сил, но смешно, по-куриному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую маниллу и кинул на столик три лиры; на зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно: из темноты повеяло на него нежным воздухом, померещилась верхушка старой пальмы, раскинувшая по звездам свои вайи, казавшиеся гигантскими, донесся отдаленный ровный шум моря... В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими, изумленными глазами. Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу, возле лампы под зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавия некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся балканской войне, привычным жестом перевернул газету, — как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напряжилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа... Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха — и дико захрипел; нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб, голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась коробом — и все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то.

Не будь в читальне немца, быстро и ловко сумели бы в гостинице замять это ужасное происшествие, мгновенно, задними ходами, умчали бы за ноги и за голову господина из Сан-Франциско куда подальше — и ни единая душа из гостей не узнала бы, что натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком, он всполошил весь дом, всю столовую. И многие вскакивали из-за еды, многие, бледнея, бежали к читальне, на всех языках раздавалось: «Что, что случилось?» — и никто не отвечал

толком, никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор еще больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти. Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско... Но никто его не слушал, многие видели, как лакеи и коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки с черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный... Когда его торопливо внесли и положили на кровать в сорок третий номер, — самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора, — прибежала его дочь, с распущенными волосами, с обнаженной грудью, поднятой корсетом, потом большая и уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса... Но тут он уже и головой перестал мотать.

Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами, меж тем как хозяин подходил то к тому, то к другому, в бессильном и приличном раздражении пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, «как это неприятно», и давая слово, что он примет «все зависящие от него меры» к устранению неприятности; тарантеллу пришлось отменить, лишнее электричество потушили, большинство гостей ушло в город, в пивную, и стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в своей клетке, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой... Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати, под грубыми шерстяными одеялами, на которые с потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый и холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло, хриплое клекотанье, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско, — его больше не было, — а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось — хрип оборвался. И медленно, медленно, на глазах у всех, потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть...

Вошел хозяин. «Già é morto»⁰, — сказал ему шепотом доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату.

— О нет, мадам, — поспешно, корректно, но уже без всякой любезности и не по-английски, а по-французски возразил хозяин, которому совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приехавшие из Сан-Франциско. — Это совершенно невозможно, мадам, — сказал он и прибавил в пояснение, что он

⁰ Уже умер (итал.)

очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то всему Капри стало бы известно об этом и туристы начали бы избегать их.

Мисс, все время странно смотревшая на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке и все еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее: если мадам не нравятся порядки отеля, он не смеет ее задерживать; и твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиции уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности... Можно ли достать на Капри хотя бы простой готовый гроб, спрашивает мадам? К сожалению, нет, ни в каком случае, а сделать никто не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе... Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках... перегородки из такого ящика можно вынуть...

Ночью весь отель спал. Открыли окно в сорок третьем номере, — оно выходило в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан, — потушили электричество, заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте, синие звезды глядели на него с неба, сверчок с грустной беззаботностью запел на стене... В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные, что-то штопали. Вошел Луиджи с кучей платья на руке, в туфлях.

— Pronto? (Готово?) — озабоченно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону. — Partenza!⁰ — шепотом крикнул он, как бы провожая поезд, то, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении поездов, — и горничные, давясь беззвучным смехом, упали головами на плечи друг другу.

Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову набок, вполголоса почтительнейше спросил:

— *Ìa sonato, signore?*

И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально ответил сам себе, как бы из-за двери:

— *Yes, come in...*

А на рассвете, когда побелело за окном сорок третьего номера и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилась против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Соляро, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, — принесли к сорок третьему номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел — и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз, до самого моря. Извозчик, кволый человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и в сбитых башмаках, был с похмелья, — целую ночь играл в кости в

⁰ Отправление! (итал.)

траттории, — и все хлестал свою крепкую лошадку, по-сицилийски разряженную, спешно гроыхающую всяческими бубенцами на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой медной седёлки, с аршинным, трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, — тем, что он до последнего гроша проигрался ночью. Но утро было свежее, на таком воздухе, среди моря, под утренним небом, хмель скоро улетучивается и скоро возвращается беззаботность к человеку, да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиною... Пароходик, жуком лежавший далеко внизу, на нежной и яркой синеве, которой так густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние гудки — и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных, с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через десять минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к Сорренто, к Каstellамаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско... И на острове снова водворились мир и покой.

На этом острове две тысячи лет тому назад жил человек, несказанно мерзкий в удовлетворении своей похоти и почему-то имевший власть над миллионами людей, наделавший над ними жестокостей сверх всякой меры, и человечество навеки запомнило его, и многие, многие со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъёмов острова. В это чудесное утро все, приехавшие на Капри именно с этой целью, еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами, на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые и старые американцы и американки, немцы и немки и за которыми опять должны были бежать по каменистым тропинкам, и все в гору, вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, нищие каприйские старухи с палками в жилистых руках, дабы подгонять этими палками осликов. Успокоенные тем, что мертвого старика из Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном, и на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на маленькой площади — рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела, стоял Лоренцо, высокий старик-лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам: он принес и уже продал за бесценок двух пойманных им ночью омаров, шуршавших в переднике повара того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско, и теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуясь своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на одно ухо. А по обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам, спускались от Анакапри два

абруцских горца. У одного под кожаным плащом была волынка, — большой козий мех с двумя дудками, у другого — нечто вроде деревянной цевницы. Шли они — и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними: и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово. На полпути они замедлили шаг: над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, мать божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына ее. Они обнажили головы — и полились наивные и смиренно-радостные хвалы их солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной...

Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовал из одного портового сарая в другой, оно снова попало наконец на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно, с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых — глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять, опять пошел корабль в свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море, для того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь.

Был он и на другую, и на третью ночь — опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем. Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженный в чуткую и тревожную дремоту, надо всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и яростные взвизгивания сирены, удушаемой бурей, но успокаивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что было за его стеною: той как бы бронированной каюты, что то и дело наполнялась таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледнолицего телеграфиста с металлическим полуобручем на голове. В самом низу, в подводной утробе «Атлантиды», тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и

всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля, — kloкотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшие в самый киль его, в бесконечно длинное подземелье, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А середина «Атлантиды», столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжело одолевавшего мрак, океан, вьюгу...

Октябрь. 1915 г.

Поэма «Листопад»

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.

Сегодня на пустой поляне,
Среди широкого двора,
Воздушной паутины ткани
Блестят, как сеть из серебра.
Сегодня целый день играет
В дворе последний мотылек
И, точно белый лепесток,
На паутине замирает,
Пригретый солнечным теплом;
Сегодня так светло кругом,
Такое мертвое молчанье
В лесу и в синей вышине,
Что можно в этой тишине
Расслышать листика шуршанье.
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Стоит над солнечной поляной,
Завороженный тишиной;
Заквохчет дрозд, перелетая
Среди подседа, где густая
Листва янтарный отблеск льет;
Играя, в небе промелькнет
Скворцов рассыпанная стая —
И снова все кругом замрет.

Последние мгновенья счастья!
Уж знает Осень, что такой
Глубокий и немой покой —
Предвестник долгого ненастья.
Глубоко, странно лес молчал
И на заре, когда с заката
Пурпурный блеск огня и злата
Пожаром терем освещал.
Потом угрюмо в нем стемнело.
Луна восходит, а в лесу
Ложатся тени на росу...
Вот стало холодно и бело
Среди полян, среди сквозной
Осенней чащи помертвелой,
И жутко Осени одной
В пустынной тишине ночной.

Теперь уж тишина другая:
Прислушайся — она растет,
А с нею, бледностью пугая,
И месяц медленно встает.
Все тени сделал он короче,
Прозрачный дым навел на лес
И вот уж смотрит прямо в очи
С туманной высоты небес.
О, мертвый сон осенней ночи!
О, жуткий час ночных чудес!
В серебристом и сыром тумане
Светло и пусто на поляне;
Лес, белым светом залитой,
Своей застывшей красотой
Как будто смерть себе пророчит;
Сова и та молчит: сидит
Да тупо из ветвей глядит,
Порою дико захохочет,
Сорвется с шумом с высоты,
Взмахнувши мягкими крылами,
И снова сядет на кусты
И смотрит круглыми глазами,
Водя ушастью головой
По сторонам, как в изумленье;
А лес стоит в оцепененье,
Наполнен бледной, легкой мглой
И листьев сыростью гнилой...

Не жди: наутро не проглянет
На небе солнце. Дождь и мгла
Холодным дымом лес туманят, —
Недаром эта ночь прошла!
Но Осень затаит глубоко
Все, что она пережила
В немую ночь, и одиноко
Запрется в тереме своем:
Пусть бор бушует под дождем,
Пусть мрачны и ненастны ночи
И на поляне волчьи очи
Зеленым светятся огнем!
Лес, точно терем без призора,
Весь потемнел и полинял,
Сентябрь, кружась по чащам бора,
С него местами крышу снял
И вход сырой листвой усыпал;
А там зазимок ночью выпал
И таять стал, все умертвив...

Трубят рога в полях далеких,
Звенит их медный перелив,
Как грустный вопль, среди широких
Ненастных и туманных нив.
Сквозь шум деревьев, за долиной,
Теряясь в глубине лесов,
Угрюмо воет рог туринный,
Скликая на добычу псов,
И звучный гам их голосов
Разносит бури шум пустынный.
Льет дождь, холодный, точно лед,
Кружатся листья по полянам,
И гуси длинным караваном
Над лесом держат перелет.
Но дни идут. И вот уж дымы
Встают столбами на заре,
Леса багряны, недвижимы,
Земля в морозном серебре,
И в горностаевом шугае,
Умывши бледное лицо,
Последний день в лесу встречая,
Выходит Осень на крыльцо.
Двор пуст и холоден. В ворота,
Среди двух высохших осин,

Видна ей синева долин
И ширь пустынного болота,
Дорога на далекий юг:
Туда от зимних бурь и вьюг,
От зимней стужи и метели
Давно уж птицы улетели;
Туда и Осень поутру
Свой одинокий путь направит
И навсегда в пустом бору
Раскрытый терем свой оставит.

Прости же, лес! Прости, прощай,
День будет ласковый, хороший,
И скоро мягкой порошей
Засеребрится мертвый край.
Как будут странны в этот белый
Пустынный и холодный день
И бор, и терем опустелый,
И крыши тихих деревень,
И небеса, и без границы
В них уходящие поля!
Как будут рады соболя,
И горностаи, и куницы,
Резвясь и греясь на бегу
В сугробах мягких на лугу!
А там, как буйный пляс шамана,
Ворвутся в голую тайгу
Ветры из тундры, с океана,
Гудя в крутящемся снегу
И завывая в поле зверем.
Они разрушат старый терем,
Оставят колья и потом
На этом острове пустом
Повесят инеи сквозные,
И будут в небе голубом
Сиять чертоги ледяные
И хрусталем и серебром.
А в ночь, меж белых их разводов,
Взойдут огни небесных сводов,
Заблещет звездный щит Стожар —
В тот час, когда среди молчанья
Морозный светится пожар,
Расцвет полярного сиянья.

1900 г.

Валерий Яковлевич Брюсов

Стихотворение «Сонет к форме»

Есть тонкие властительные связи
Меж контуром и запахом цветка.
Так бриллиант невидим нам, пока
Под гранями не оживёт в алмазе.

Так образы изменчивых фантазий,
Бегущие, как в небе облака,
Окаменев, живут потом века
В отточенной и завершённой фразе.

И я хочу, чтоб все мои мечты,
Дошедшие до слова и до света,
Нашли себе желанные черты.

Пускай мой друг, разрезав том поэта,
Упьётся в нём и стройностью сонета,
И буквами спокойной красоты!

6 июня 1895 г.

Стихотворение «Грядущие гунны»

Топчи их рай, Аттила.

Вяч. Иванов

Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!
Слышу ваш топот чугунный
По еще не открытым Памирам.

На нас ордой опьянелой
Рухните с темных становий —
Оживить одряхлевшее тело
Волной пылающей крови.

Поставьте, невольники воли,
Шалаши у дворцов, как, бывало,
Всколите веселое поле
На месте тронного зала.

Сложите книги кострами,
Пляшите в их радостном свете,
Творите мерзость во храме, —
Вы во всем неповинны, как дети!

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры.

И что, под бурей летучей,
Под этой грозой разрушений,
Сохранит играющий Случай
Из наших заветных творений?

Бесследно все сгинет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

Осень 1904 г.

Стихотворение «Юному поэту»

Юноша бледный со взором горящим,
Ныне даю я тебе три завета:
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее — область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.

Юноша бледный со взором смущенным!
Если ты примешь моих три завета,
Молча паду я бойцом побежденным,
Зная, что в мире оставлю поэта.

15 июля 1896 г.

Стихотворение «Работа»

Здравствуй, тяжкая работа,
Плуг, лопата и кирка!
Освежают капли пота,
Ноет сладостно рука!

Прочь венки, дары царевны,
Упадай порфира с плеч!
Здравствуй, жизни повседневной
Грубо кованная речь!

Я хочу изведать тайны
Жизни мудрой и простой.
Все пути необычайны,
Путь труда, как путь иной.

В час, когда устанет тело
И ночлегом будет хлев, –
Мне под кровлей закоптелой
Что приснится за напев?

Что восстанут за вопросы,
Опьянят что за слова,
В час, когда под наши косы
Ляжет влажная трава?

А когда и в дождь, и в холод,
Зазвенит кирка моя,
Буду ль верить, что я молод,
Буду ль знать, что силен я?

7 июня 1901 г.

Константин Дмитриевич Бальмонт

Стихотворение «Челн томленья»

Князю А. И. Урусову

Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
Близко буря. В берег бьется.
Чуждый чарам черный челн.

Чуждый чистым чарам счастья,
Челн томленья, челн тревог,
Бросил берег, бьется с бурей,
Ищет светлых снов чертог.

Мчится взморьем, мчится морем,
Отдаваясь воле волн.
Месяц матовый взирает,
Месяц горькой грусти полн.

Умер вечер. Ночь чернеет.
Ропщет море. Мрак растет.
Челн томленья тьмой охвачен.
Буря веет в бездне вод.

1894 г.

Стихотворение «Песня без слов»

Ландыши, лютики. Ласки любовные.
Ласточки лепет. Лобзание лучей.
Лес зеленеющий. Луг расцветающий.
Светлый свободный журчащий ручей.

День догорает. Закат загорается.
Шепотом, ропотом рощи полны.
Новый восторг воскресает для жителей
Сказочной светлой свободной страны.

Ветра вечернего вздох замирающий.
Полной Луны переменчивый лик.
Радость безумная. Грусть непонятная.
Миг невозможного. Счастья миг.

1894 г.

Стихотворение «Океан»

Сонет Валерию Брюсову

Вдали от берегов Страны Обетованной,
Храня на дне души надежды бледный свет,
Я волны вопрошал, и Океан туманный
Угрюмо рокотал и говорил в ответ.

«Забудь о светлых снах. Забудь. Надежды нет.
Ты вверился мечте обманчивой и странной.
Скитайся дни, года, десятки, сотни лет, —
Ты не найдешь нигде Страны Обетованной».

И вдруг поняв душой всех дерзких снов обман,
Охвачен пламенной, но безутешной думой,
Я горько спросил безбрежный Океан, —

Зачем он странных бурь питает ураган,
Зачем волнуется, — но Океан угрюмый,
Свой ропот, заглушив, окутался в туман.

1895 г.

Стихотворение «Я мечтою ловил уходящие тени...»

Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасавшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.

И чем выше я шел, тем ясней рисовались,
Тем ясней рисовались очертанья вдали,
И какие-то звуки вдали раздавались,
Вкруг меня раздавались от Небес и Земли.

Чем я выше всходил, тем светлее сверкали,
Тем светлее сверкали выси дремлющих гор,
И сияньем прощальным как будто ласкали,
Словно нежно ласкали отуманенный взор.

И внизу подо мною уже ночь наступила,
Уже ночь наступила для уснувшей земли,
Для меня же блистало дневное светило,
Огневое светило догорало вдали.

Я узнал, как ловить уходящие тени,
Уходящие тени потускневшего дня,
И все выше я шел, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.

1894 г.

Стихотворение «Камыши»

Полночной порою в болотной глуши
Чуть слышно, бесшумно, шуршат камыши.

О чем они шепчут? О чем говорят?
Зачем огоньки между ними горят?

Мелькают, мигают — и снова их нет.
И снова забрезжил блуждающий свет.

Полночной порой камыши шелестят.
В них жабы гнездятся, в них змеи свистят.

В болоте дрожит умирающий лик.
То Месяц багровый печально поник.

И тиной запахло. И сырость ползет.
Трясина заманит, сожмет, засосет.

«Кого? Для чего? — камыши говорят, —
Зачем огоньки между нами горят?»

Но Месяц печальный безмолвно поник.
Не знает. Склоняет все ниже свой лик.

И, вздох повторяя погибшей души,
Тоскливо, бесшумно, шуршат камыши.

1895 г.

Александр Александрович Блок

Стихотворение «Незнакомка»

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздаётся детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины
И раздаётся женский визг,
А в небе, ко всему приученный
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!»⁰ кричат.

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна

⁰ «In vino veritas!» (лат.) — «Истина — в вине!»

Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

1906 г.

Стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе...»

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.

Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.

Летели дни, крутятся проклятым роем...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою...

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.

Не знаю, где приют твоей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...

Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

1908 г.

Стихотворение «Россия»

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, —
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею,
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Ну, что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..

1908 г.

Стихотворение «О, весна без конца и без краю...»

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха — позорного нет!

Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси!
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабских трудов!

И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах...

Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами — хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Всё равно: принимаю тебя!

1907 г.

Стихотворение «На железной дороге»

Марии Павловне Ивановой

Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих —
Нежней румянец, круче локон:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон...

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.

Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блеклыми,
Ее, жандарма с нею рядом...

Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною,
Скользнул — и поезд в даль умчало.

Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая...
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая...

Да что — давно уж сердце вынуто!

Так много отдано поклонов,
Так много жадных взоров кинута
В пустынные глаза вагонов...

Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей — довольно:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена — все больно.

1910 г.

Цикл «Стихи о Прекрасной Даме»

Стихотворение «Ветер принес издалёка...»

Ветер принес издалёка
Песни весенней намека,
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.

В этой бездонной лазури
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
Реяли звездные сны.

Робко, темно и глубоко
Плакали струны мои.
Ветер принес издалёка
Звучные песни твои.

29 января 1901

Стихотворение «Я вышел. Медленно сходили...»

Я вышел. Медленно сходили
На землю сумерки зимы.
Минувших дней молодые были
Пришли доверчиво из тьмы...

Пришли и встали за плечами,
И пели с ветром о весне...
И тихими я шел шагами,
Провидя вечность в глубине...

О, лучших дней живые были!
Под вашу песнь из глубины
На землю сумерки сходили
И вечности вставали сны!..

25 января 1901. С.-Петербург

Поэма «Двенадцать»

1

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем Божьем свете!

Завивает ветер
Белый снежок.
Под снежком — ледок.
Скользко, тяжко,
Всякий ходок
Скользит — ах, бедняжка!

От здания к зданию
Протянут канат.
На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»
Старушка убивается — плачет,
Никак не поймет, что значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий — раздет, разут...

Старушка, как курица,
Кой-как перемотнулась через сугроб.
— Ох, Матушка-Заступница!
— Ох, большевики загонят в гроб!

Ветер хлесткий!
Не отстает и мороз!
И буржуй на перекрестке
В воротник упрятал нос.

А это кто? — Длинные волосы
И говорит вполголоса:
— Предатели!
— Погибла Россия!
Должно быть, писатель —
Вития...

А вон и долгополый —
Сторонкой — за сугроб...
Что нынче невеселый,
Товарищ поп?

Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?

Вон барыня в каракуле
К другой подвернулась:
— Ужь мы плакали, плакали...
Поскользнулась
И — бац — растянулась!

Ай, ай!
Тяни, подымай!

Ветер веселый
И зол, и рад.
Крутит подолы,
Прохожих косит,
Рвет, мнет и носит
Большой плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию» ...
И слова доносит:

... И у нас было собрание...
... Вот в этом здании...
... Обсудили —
Постановили:
На время — десять, на ночь — двадцать пять...
... И меньше — ни с кого не брать...
... Пойдем спать...
Поздний вечер.
Пустеет улица.
Один бродяга
Сутулится,
Да свищет ветер...

Эй, бедняга!
Подходи —

Поцелуемся...

Хлеба!

Что впереди?

Проходи!

Черное, черное небо.

Злоба, грустная злоба

Кипит в груди...

Черная злоба, святая злоба...

Товарищ! Гляди

В оба!

2

Гуляет ветер, порхает снег.

Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,

Кругом — огни, огни, огни...

В зубах — цыгарка, примят картуз,

На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,

Эх, эх, без креста!

Тра-та-та!

Холодно, товарищи, холодно!

— А Ванька с Катькой — в кабаке...

— У ей керенки есть в чулке!

— Ванюшка сам теперь богат...

— Был Ванька наш, а стал солдат!

— Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,

Мою, попробуй, поцелуй!

Свобода, свобода,

Эх, эх, без креста!

Катька с Ванькой занята —

Чем, чем занята?..

Тра-та-та!

Кругом — огни, огни, огни...
Оплечь — ружейные ремни...
Революционный держите шаг!

Неугомонный не дремлет враг!
Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!

Эх, эх, без креста!

3

Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить —
В красной гвардии служить —
Буйну голову сложить!

Эх ты, горе-горькое,
Сладкое житье!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружье!

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!

4

Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катюкою летит —
Електрический фонарик
На оглобелях...
Ах, ах, пади!..

Он в шинелишке солдатской
С физиономией дурацкой
Крутит, крутит черный ус,
Да покручивает,

Да пошучивает...

Вот так Ванька — он плечист!
Вот так Ванька — он речист!
Катьку-дуру обнимает,
Заговаривает...

Запрокинулась лицом,
Зубки блещут жемчугом...
Ах ты, Катя, моя Катя,
Толстоморденькая...

5

У тебя на шее, Катя,
Шрам не зажил от ножа.
У тебя под грудью, Катя,
Та царапина свежа!

Эх, эх, попляши!
Больно ножки хороши!
В кружевном белье ходила —
Походи-ка, походи!
С офицерами блудила —
Поблуди-ка, поблуди!

Эх, эх, поблуди!
Сердце екнуло в груди!

Помнишь, Катя, офицера —
Не ушел он от ножа...
Аль не вспомнила, холера?
Али память не свежа?

Эх, эх, освежи,
Спать с собою положи!

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила —
С солдатьем теперь пошла?

Эх, эх, согреси!
Будет легче для души!

6

... Опять навстречу несется вскачь.
Летит, вопит, орет лихач...

Стой, стой! Андрюха, помогай!
Петруха, сзади забегай!..

Трах, тарарах-тах-тах-тах-тах!
Вскрутился к небу снежный прах!..

Лихач — и с Ванькой — наутек...
Еще разок! Взводи курок!..

Трах-тарарах! Ты будешь знать,
Как с девочкой чужой гулять!..
Утек, подлец! Ужо, постой,
Расправляюсь завтра я с тобой!

А Катька где? — Мертва, мертва!
Простреленная голова!

Что Катька, рада? — Ни гу-гу...
Лежи ты, падаль, на снегу!

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

7

И опять идут двенадцать,
За плечами — ружьеца.
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица...

Все быстрее и быстрее
Уторапливает шаг.
Замотал платок на шее —
Не оправиться никак...

— Что, товарищ, ты не весел?
— Что, дружок, оторопел?
— Что, Петруха, нос повесил,
Или Катьку пожалел?

— Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил...
Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил...

— Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча... ах!
— Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба что ль?
— Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!
— Поддержи свою осанку!
— Над собой держи контроль!

— Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!

И Петруха замедляет
Торопливые шаги...

Он головку вскидывает,
Он опять повеселел...

Эх, эх!
Позабавиться не грех!

Запирайте этажи,
Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!

8

Ох ты, горе-горькое!
Скука скучная,
Смертная!

Ужь я времячко
Проведу, проведу...

Ужь я темячко
Почешу, почешу...

Ужь я семячки
Полущу, полущу...

Ужь я ножичком
Полосну, полосну!..

Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку...

Упокой, Господи, душу рабы Твоея...

Скучно!

9

Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городского —
Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жметесь шерстью жесткой
Поджавший хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

10

Разыгралась чтой-то вьюга,
Ой, вьюга́, ой, вьюга́!
Не видать совсем друг друга
За четыре за шагом!

Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...
— Ох, пурга какая, Спасе!
— Петька! Эй, не завирайся!
От чего тебя упас
Золотой иконостас?
Бессознательный ты, право,
Рассуди, подумай здраво —
Али руки не в крови
Из-за Катькиной любви?
— Шаг держи революционный!
Близок враг неугомонный!

Вперед, вперед, вперед,
Рабочий народ!

11

... И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

Их винтовочки стальные
На незримого врага...
В переулочки глухие,
Где одна пылит пурга...
Да в сугробы пуховые —
Не утянешь сапога...

В очи бьется
Красный флаг.

Раздается
Мерный шаг.

Вот — проснется
Лютый враг...

И вьюга пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...
Вперед, вперед,
Рабочий народ!

12

... Вдаль идут державным шагом...
— Кто еще там? Выходи!
Это — ветер с красным флагом
Разыгрался впереди...

Впереди — сугроб холодный,
— Кто в сугробе — выходи!..
Только нищий пес голодный
Ковыляет позади...

— Отвяжись ты, шелудивый,
Я штыком щекечучу!
Старый мир, как пес паршивый,
Провались — поколочу!

... Скалит зубы — волк голодный —
Хвост поджал — не отстает —
Пес холодный — пес безродный ...
— Эй, откликнись, кто идет?

— Кто там машет красным флагом?
— Приглядись-ка, эка тьма!
— Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?

— Все равно, тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьем!
— Эй, товарищ, будет худо,
Выходи, стрелять начнем!

Трах-тах-тах! — И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах...

... Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,

И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

Николай Степанович Гумилёв

Стихотворение «Капитаны»

I

На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведаль мальстремы и мель,

Чья не пылью затерянных хартий, —
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь

И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Ключья пены с высоких ботфорт,

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса,
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.

Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат,

Меткой пулей, острой железной
Настигать исполинских китов
И приметить в ночи многозвездной
Охранительный свет маяков?

II

Вы все, паладины Зеленого Храма,
Над пасмурным морем следившие румб,
Гонзальво и Кук, Лаперуз и де-Гама,
Мечтатель и царь, генуэзец Колумб!

Ганнон Карфагенянин, князь Сенегамбий,
Синдбад-Мореход и могучий Улисс,
О ваших победах гремят в дифирамбе
Седые валы, набегая на мыс!

А вы, королевские псы, флибустьеры,
Хранившие золото в темном порту,
Скитальцы арабы, искатели веры
И первые люди на первом плоту!

И все, кто дерзает, кто хочет, кто ищет,
Кому опостытели страны отцов,
Кто дерзко хохочет, насмешливо свищет,
Внимая заветам седых мудрецов!

Как странно, как сладко входить в ваши грезы,
Заветные ваши шептать имена,
И вдруг догадаться, какие наркозы
Когда-то рождала для вас глубина!

И кажется — в мире, как прежде, есть страны,
Куда не ступала людская нога,
Где в солнечных рощах живут великаны
И светят в прозрачной воде жемчуга.

С деревьев стекают душистые смолы,
Узорные листья лепечут: «Скорей,
Здесь реют червонного золота пчелы,
Здесь розы краснее, чем пурпур царей!»

И карлики с птицами спорят за гнезда,
И нежен у девушек профиль лица...
Как будто не все пересчитаны звезды,
Как будто наш мир не открыт до конца!

III

Только глянет сквозь утесы
Королевский старый форт,
Как веселые матросы
Поспешат в знакомый порт.

Там, хватив в таверне сидру,
Речь ведет болтливый дед,
Что сразить морскую гидру
Может черный арбалет.

Темнокожие мулатки
И гадают, и поют,
И несется запах сладкий
От готовящихся блюд.

А в заплеванных тавернах
От заката до утра
Мечут ряд колод неверных
Завитые шулера.

Хорошо по докам порта
И слоняться, и лежать,
И с солдатами из форта
Ночью драки затевать.

Иль у знатных иностранок
Дерзко выклянчить два су,
Продавать им обезьянок
С медным обручем в носу.
А потом бледнеть от злости
Амулет зажать в полу,
Все проигрывая в кости
На затоптанном полу.

Но смолкает зов дурмана,
Пьяных слов бессвязный лет,
Только рупор капитана
Их к отплытью призовет.

IV

Но в мире есть иные области,
Луной мучительной томимы.
Для высшей силы, высшей доблести
Они навек недостижимы.

Там волны с блесками и всплесками
Непрекращаемого танца,
И там летит скачками резкими
Корабль Летучего Голландца.

Ни риф, ни мель ему не встретятся,
Но, знак печали и несчастий,
Огни святого Эльма светятся,
Усеяв борт его и снасти.

Сам капитан, скользя над бездною,
За шляпу держится рукою,
Окровавленной, но железною,
В штурвал вцепляется — другою.

Как смерть, бледны его товарищи,
У всех одна и та же дума.
Так смотрят трупы на пожарище,
Невыразимо и угрюмо.

И если в час прозрачный, утренний
Пловцы в морях его встречали,
Их вечно мучил голос внутренний
Слепым предвестием печали.

Ватаге буйной и воинственной
Так много сложено историй,
Но всех страшней и всех таинственней
Для смелых пенителей моря —

О том, что где-то есть окраина —
Туда, за тропик Козерога! —
Где капитана с ликом Каина
Легла ужасная дорога.

1909 г.

Стихотворение «Жираф»

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав...
— Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

1907 г.

Стихотворение «Волшебная скрипка»

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры!

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей,
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,
И когда пылает запад и когда горит восток.

Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, —
Тотчас бешеные волки в кровожадном исступлении
В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.

Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело,
В очи глянет запоздалый, но властительный испуг.
И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью, тело,
И невеста зарыдает, и задумается друг.

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!
Но я вижу — ты смеешься, эти взоры — два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

1908 г.

Стихотворение «Заблудившийся трамвай»

Шёл я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы,
Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей тёмной, крылатой,
Он заблудился в бездне времён...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!

Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы прогремели по трём мостам.

И, промелькнув у оконной рамы,
Бросил нам вслед пытливый взгляд
Нищий старик, — конечно, тот самый,
Что умер в Бейруте год назад.

Где я? Так томно и так тревожно
Сердце моё стучит в ответ:
«Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?»

Вывеска... кровью налитые буквы
Гласят — зеленная, — знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мёртвые головы продают.

В красной рубашке с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь в ящике скользком, на самом дне.

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковёр ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла?

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренной косой
Шёл представляться Императрице
И не увиделся вновь с тобой.

Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.

И сразу ветер знакомый и сладкий
И за мостом летит на меня,
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.

Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравьи
Машеньки и панихиду по мне.

И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить...
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить!

1920 г.

Игорь Северянин

(Игорь Васильевич Лотарёв)

Стихотворение «Эпилог»

1

Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкраен!
Я повсесердно утвержден!

От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провел.
Я покори́л литерату́ру!
Взорлил, гремящий, на престол!

Я — год назад — сказал: «Я буду!»
Год отсверкал, и вот — я есть!
Среди друзей я зрил Иуду,
Но не его отверг, а — месть.

«Я одинок в своей задаче!»-
Прозренно я провозгласил.
Они пришли ко мне, кто зрячи,
И, дав восторг, не дали сил.

Нас стало четверо, но сила
Моя, единая, росла.
Она поддержки не просила
И не мужала от числа.

Она росла в своем единстве,
Самодержавна и горда, -
И, в чаровом самоубийстве,
Шатнулась в мой шатер орда...

От снегоскалого гипноза
Бежали двое в тлен болот;
У каждого в плече заноза, -
Зане болезнен беглых взлет.

Я их приветил: я умею
Приветить все, — божи, Привет!
Лети, голубка, смело к змию!
Змея, обвей орла в ответ!

Я выполнил свою задачу,
Литературу покорив.
Бросаю сильным наудачу
Завоевателя порыв.

Но, даровав толпе холопов
Значенье собственного «я»,
От пыли отряхаю обувь,
И вновь в простор — стезя моя.

Схожу насмешливо с престола
И, ныне светлый пилигрим,
Иду в застенчивые доли,
Презрев ошеломленный Рим.

Я изнемог от льстивой свиты,
И по природе я взалкал.
Мечты с цветами перевиты,
Росой накоплен мой бокал.

Мой мозг прояснили дурманы,
Душа влечется в примитив.
Я вижу росные туманы!
Я слышу липовый мотив!

Не ученик и не учитель,
Великих друг, ничтожных брат,
Иду туда, где вдохновитель
Моих исканий — говор хат.

До долгой встречи! В беззаконце
Веротерпимость хороша.
В ненастный день взойдет, как солнце,
Моя вселенская душа!

1912 г.

**Стихотворение «Увертюра»
(Ананасы в шампанском!..)**

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!

Стрекот аэропланов! Беги автомобилей!
Ветропросвист экспрессов! Крылолёт буеров!
Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!
Ананасы в шампанском — это пульс вечеров!

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грезофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы — в Нагасаки! Из Нью-Йорка — на Марс!

1915 г.

Сергей Александрович Есенин

Стихотворение «Край любимый! Сердцу снятся...»

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных,
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.

По меже, на переметке,
Резеда и риза кашки.
И вызванивают в четки
Ивы — кроткие монашки.

Курит облаком болото,
Гарь в небесном коромысле.
С тихой тайной для кого-то
Затаил я в сердце мысли.

Все встречаю, все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.

1914 г.

Стихотворение «Я покинул родимый дом...»

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге,

И я знаю, есть радость в нем
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого, что тот старый клен
Головой на меня похож.

1918 г.

Стихотворение «Отговорила роща золотая...»

Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —
Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности весёлой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костёр рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадёт трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребёт их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

1924 г.

Стихотворение «Неуютная жидкая лунность...»

Неуютная жидкая лунность
И тоска бесконечных равнин, —
Вот что видел я в резвую юность,
Что, любя, проклинал не один.

По дорогам усохшие вербы
И тележная песня колес...
Ни за что не хотел я теперь бы,
Чтоб мне слушать ее привелось.

Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил.
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.

Мне теперь по душе иное...
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны.

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам, и тополям.

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь.

И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.

1925 г.

Стихотворение «Спит ковыль. Равнина дорогая...»

Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуюсь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.

Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!

1925 г.

**Стихотворение «Собаке Качалова»
(Дай, Джим, на счастье, лапу мне...)**

Дай, Джим, на счастье, лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье, лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.

Хозяин твой и мил, и знаменит,
И у него гостей бывает в доме много,
И каждый, улыбаясь, норовит
Тебя по шерсти бархатной потрогать.

Ты по-собачьи дьявольски красив,
С такою милою доверчивой приятцей.
И, никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.

Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и невсяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват.

1925 г.

Стихотворение «Шаганэ ты моя, Шаганэ...»

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.

Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

1924 г.

Владимир Владимирович Маяковский

Стихотворение «Послушайте!»

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевóчки
жемчужиной?

И, надрываясь
в метелях полúденной пыли,
вывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную мýку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1914 г.

Стихотворение «О дряни»

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне —
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спальни.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:

«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурировать я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
Рамочка а́ла.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
верещала
оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

1920—1921 гг.

Стихотворение «Прозаседавшиеся»

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео⁰ и Гукон⁰».
Исколесишь сто лестниц.

Свет не мил.
Опять:
«Через час велели прийти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
голо!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

⁰ Тео — театральный отдел Главполитпросвета

⁰ Гукон — Главное управление коннозаводства при Наркомземе.

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорóгой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

1922 г.

Стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой»

В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть.
Я не люблю
парижскую любовь:
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав —
тубо —
собакам
озверевшей страсти.
Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови,
дай
про этот
важный вечер
рассказать
по-человечьи.
Пять часов,
и с этих пор
стих
людей
дремучий бор,
вымер
город заселенный,
слышу лишь
свисточный спор
поездов до Барселоны.

В черном небе
 молний поступь,
гром
 ругней
 в небесной драме, –
не гроза,
 а это
 просто
ревность
 двигает горами.
Глупых слов
 не верь сырью,
не пугайся
 этой тряски, –
я взнуздаю,
 я смирю
чувства
 отпрысков дворянских.
Страсти корь
 сойдет коростой,
но радость
 неиссыхаемая,
буду долго,
 буду просто
разговаривать стихами я.
Ревность,
 жены,
 слезы...
 ну их! –
вспухнут вехи,
 впору Вию.
Я не сам,
 а я
 ревную
за Советскую Россию.
Видел
 на плечах заплаты,
их
 чахотка
 лижет вздохом.
Что же,
 мы не виноваты –
ста миллионам
 было плохо.

Мы
теперь
к таким нежны –
спортом
выпрямишь не многих, –
вы и нам
в Москве нужны,
не хватает
длинноногих.
Не тебе,
в снега
и в тиф
шедшей
этими ногами,
здесь
на ласки
выдать их
в ужины
с нефтяниками.
Ты не думай,
щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
иди на перекресток
моих больших
и неуклюжих рук.
Не хочешь?
Оставайся и зимуй,
и это
оскорбление
на общий счет нанижем.
Я все равно
тебя
когда-нибудь возьму –
одну
или вдвоем с Парижем.

1928 г.

Стихотворение «А вы могли бы?»

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочёл я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

1913 г.

Поэма «Облако в штанах»

Тетраптих

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

«Приду в четыре», — сказала Мария.

Восемь.
Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрь.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.

Полночь, с ножом мечась,
догнала,
зарезала, —
вон его!

Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождейки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.

Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, —
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, —
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».

Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.

Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», —
а я одно видел:
вы — Джоконда,
которую надо украсть!

И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Дразните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!

Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боев, —
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?

И чувствую —
«я»
для меня мало.
Кто-то из меня вырывается упрямо.

Алло!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».

Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, —
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil»⁰.

Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!
А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размоzóлев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипчивают, рифмами пиликаая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.
Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.

Улица мýку молча пёрла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi⁰ и костлявые пролетки
грудь испешеходили.
Чахотки плóще.

Город дорогу мраком запер.

⁰ «Ничто» (лат.).

⁰ Такси (франц.).

И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хорах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»

Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщъ,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея —
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется, «борщ».

Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
«Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?»

А за поэтами —
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.

Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!
Проповедует,
мечась и стеля,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу, —
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоты в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы — молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»

Но мне —
люди,
и те, что обидели —
вы мне всего дороже и ближе.

Видели,
как собака бьющую руку лижет?!

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабресный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча;
я — где боль, везде;
на каждой капле слёзовой течи
распял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.

Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!

Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.

И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке
взял и сказал:
«Хорошо!»

Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,
бенгальскую,
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на...
А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Как вы смеее называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

Вы,
обеспокоенные мыслью одной —
«изящно пляшу ли», —
смотрите, как развлекаюсь
я —
площадной
сутенер и карточный шулер.

От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещицы
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»

Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.

Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкая,
и небье лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.

И кто-то,
запутавшись в облачных путях,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень,
нож или бомбу, а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом грязненьке!

Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!
Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумашествие.

Ничего не будет.

Ночь придет,
перекусит
и съест.

Видите —
небо опять иудит
пригоршню обгрызанных предательством звезд?

Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насев.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу — глаза круглы, —
глазами в сердце въелась богоматерь.

Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь — опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?

Может быть, нарочно я
в человеческом месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.

Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должны подрасти,
мальчики — отцы,
девочки — забеременели.

И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном Евангелии
тринадцатый апостол.

И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.

Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
«удивительно честный».

Мария,
видишь —
я уже начал сутулиться.

В улицах
люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске, —
перехихикиваться,
что у меня в зубах
— опять! —
черствая булка вчерашней ласки.

Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах —
да! —
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз —
да! —
из опущенных глаз водосточных труб.

Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет;
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочились сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.

Мария!
Как в зажившее ухо втиснуть им тихое слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,
а я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку
Пресни.

Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь — натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловье
потноживотые женщины мокрой горою сидят, —
это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.
Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц, —
«любящие Маяковского!» —
да ведь это ж династия

на сердце сумасшедшего восшедших цариц.

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.

Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане —
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».

Мария — дай!

Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.

Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.

Мария —
не хочешь?
Не хочешь!

Ха!

Значит — опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
перееханную поездом лапу.

Кровью сердца дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.

И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.

Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бок,
наклонюсь
и скажу ему на ухо:

— Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте — знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!

Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи, —
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек

я натащу тебе.

Хочешь?

Не хочешь?

Мотаешь головою, кудластый?

Супишь седую бровь?

Ты думаешь —

этот,

за тобою, крыластый,

знает, что такое любовь?

Я тоже ангел, я был им —

сахарным барашком выглядывал в глаз,

но больше не хочу дарить кобылам

из сервской муки изваянных ваз.

Всемогущий, ты выдумал пару рук,

сделал,

что у каждого есть голова, —

отчего ты не выдумал,

чтоб было без мук

целовать, целовать, целовать?!

Я думал — ты всеильный божище,

а ты недоучка, крохотный божик.

Видишь, я нагибаюсь,

из-за голенища

достаю сапожный ножик.

Крыластые прохвосты!

Жмитесь в раю!

Ерошьте перышки в испуганной тряске!

Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою

отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите.

Вру я,

в праве ли,

но я не могу быть спокойней.

Смотрите —

звезды опять обезглавили

и небо окровавили бойней!

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

1914 — 1915 г.

Поэма «Про это»

Про что – про это?

В этой теме,
 и личной
 и мелкой,
перепетой не раз
 и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.
Эта тема
 сейчас
 и молитвой у Будды
и у негра вострит на хозяев нож.
Если Марс,
 и на нем хоть один сердцелюдый,
то и он
 сейчас
 скрипит
 про то ж.
Эта тема придет,
 калеку за локти
подтолкнет к бумаге,
 прикажет:
 — Скреби! —
И калека
 с бумаги
 срывается в клёкоте,
только строчками в солнце песня рябит.
Эта тема придет,
 позвонится с кухни,
повернется,
 сгинет шапчонкой гриба,
и гигант
 постоит секунду
 и рухнет,
под записочной рябью себя погребя.
Эта тема придет,
 прикажет:
 — Истина! —
Эта тема придет,
 велит:
 — Красота! —

И пускай
 перекладиной кисти раскистены —
только вальс под нос мурлычешь с креста.
Эта тема азбуку тронет разбегом —
уж на что б, казалось, книга ясна! —
и становится
 — А —
 недоступней Казбека.
Замутит,
 оттянет от хлеба и сна.
Эта тема придет,
 вовек не изнаосится,
только скажет:
 — Отныне гляди на меня! —
И глядишь на нее,
 и идешь знаменосцем,
красношелкий огонь над землей знаменя.
Это хитрая тема!
 Нырнет под события,
в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,
и как будто ярясь
 — посмели забыть ее! —
затрясет;
 посыпятся души из шкур.
Эта тема ко мне заявила гневная,
приказала:
 — Подать
 дней удила! —
Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное
и грозой раскидала людей и дела.
Эта тема пришла,
 остальные оттерла
и одна
 безраздельно стала близка.
Эта тема ножом подступила к горлу.
Молотобоец!
 От сердца к вискам.
Эта тема день истемнила, в темень
колотись — велела — строчками лбов.
Имя
 этой
 теме:
.....!

I. Баллада Редингской тюрьмы

Стоял — вспоминаю.

Был этот блеск.

И это

тогда

называлось Невою.

Маяковский, «Человек».

(13 лет работы, т. 2, стр. 77)

О балладе и о балладах

Немолод очень лад баллад,
но если слова болят
и слова говорят про то, что болят,
молодеет и лад баллад.
Лубянский проезд.

Водопьяный.

Вид

вот.

Вот

фон.

В постели она.

Она лежит.

Он.

На столе телефон.

«Он» и «она» баллада моя.

Не страшно нов я.

Страшно то,

что «он» — это я

и то, что «она» —

моя.

При чем тюрьма?

Рождество.

Кутерьма.

Без решеток окошки домика!

Это вас не касается.

Говорю — тюрьма.

Стол.

На столе соломинка.

По кабелю пущен номер

Тронул еле — волдырь на теле.

Трубку из рук вон.

Из фабричной марки —

две стрелки яркие

омолниили телефон.

Соседняя комната.

Из соседней

сонно:

— Когда это?

Откуда это живой поросенок? —

Звонок от ожогов уже визжит,

добела раскален аппарат.

Больна она!

Она лежит!

Беги!

Скорей!

Пора!

Мясом дымясь, сжимаю жжение.

Моментально молния телом забежала.

Стиснул миллион вольт напряжения.

Ткнулся губой в телефонное пекло.

Дыры

сверля

в доме,

взрыв

Мясницкую

пашней,

рвя

кабель,

номер

пулей

летел

барышне.

Смотрел осовело барышнин глаз —

под праздник работай за двух.

Красная лампа опять зажглась.

Позвонила!

Огонь потух.

И вдруг

как по лампам пошло куролесить,

вся сеть телефонная рвется на нити.

—67—10!

Соедините! —

В проулок!

Скорей!

Водопьяному в тишь!

Ух!

А то с электричеством станется —
под Рождество
на воздух взлетишь
со всей
со своей
телефонной
станцией.

Жил на Мясницкой один старожил.
Сто лет после этого жил —
про это лишь —
сто лет! —
говаривал детям дед.
— Было — суббота...
под воскресенье...

Окорочок...
Хочу, чтоб дешево...
Как вдарит кто-то!..
Землетрясение...
Ноге горячо...
Ходун — подошва!.. —
Не верилось детям,
чтоб так-то
да там-то.
Землетрясение?
Зимой?
У почтамта?!

Телефон бросается на всех

Протиснувшись чудом сквозь тоненький шнур,
раструба трубки разинув оправу,
погромом звонков грома тишину,
разверг телефон дребезжащую лаву.
Это визжащее,
звнящее это
пальнуло в стены,
старалось взорвать их.
Звоночки
тыщей
от стен
рикошетом
под стулья закатывались
и под кровати.
Об пол с потолка звонóчище хлопал.

И снова,
 звонящий мячище точно,
взлетал к потолку, ударившись об пол,
и сыпало вниз дребезгою звоночной.
Стекло за стеклом,
 вьюшку за вьюшкой
тянуло
 звенеть телефонному в тон.
Тряся
 ручоночкой
 дом-погремушку,
тонул в разливе звонков телефон.

Секундантша

От сна
 чуть видно —
 точка глаз
иголит щеки жаркие.
Ленясь, кухарка поднялась,
идет,
 кряхтя и харкая.
Моченым яблоком она.
Морщинят мысли лоб ее.
— Кого?
 Владим Владимыч?!
 А! —
Пошла, туфлёю шлепая.
Идет.
 Отмеряет шаги секундантом.
Шаги отдаляются...
 Слышатся еле...
Весь мир остальной отодвинут куда-то,
лишь трубкой в меня неизвестное целит.

Просветление мира

Застыли докладчики всех заседаний,
не могут закончить начатый жест.
Как были,
 рот разинув,
 сюда они
смотрят на Рождество из Рождеств.
Им видима жизнь
 от дрызг и до дрызг.

Дом их —
 единая будняя тина.
Будто в себя,
 в меня смотрясь,
ждали
 смертельной любви поединок.
Окаменели сиренные рокоты.
Колес и шагов суматоха не вертит.
Лишь поле дуэли
 да время-доктор
с бескрайним бинтом исцеляющей смерти.
Москва —
 за Москвой поля примолкли.
Моря —
 за морями горы стройны.
Вселенная
 вся
 как будто в бинокле,
в огромном бинокле (с другой стороны).
Горизонт распрямился
 ровно-ровно.
Тесьма.
 Натянут бичевкой тугой.
Край один —
 я в моей комнате,
ты в своей комнате — край другой.
А между —
 такая,
 какая не снится,
какая-то гордая белой обновой,
через вселенную
 легла Мясницкая
миниатюрой кости слоновой.
Ясность.
 Прозрачайшей ясностью пытка.
В Мясницкой
 деталью искуснейшей выточки
кабель
 тонюсенький —
 ну, просто нитка!
И всё
 вот на этой вот держится ниточке.

Дуэль

Раз!
Трубку наводят.
Надежду
брось.
Два!
Как раз
остановилась,
не дрогнув,
между
моих
мольбой обволокнувших глаз.
Хочется крикнуть медлительной бабе:
— Чего задаетесь?
Стоите Дантесом.
Скорей,
скорей просверлите сквозь кабель
пулей
любого яда и веса. —
Страшнее пуль —
оттуда
сюда вот,
кухаркой оброненное между зевот,
проглоченным кроликом в брюхе удава
по кабелю,
вижу,
слово ползет.
Страшнее слов —
из древнейшей древности,
где самку клыком добывали люди еще,
ползло
из шнура —
скребущейся ревности
времен троглодитских тогдашнее чудище.
А может быть...
Наверное, может!
Никто в телефон не лез и не лезет,
нет никакой троглодичьей рожи.
Сам в телефоне.
Зеркалюсь в железе.
Возьми и пиши ему ВЦИК циркуляры!
Пойди — эту правильность с Эрфуртской сверь!

Сквозь первое горе
 бессмысленный,
 ярый,
мозг поборов,
 проскребается зверь.

Что может сделаться с человеком!

Красивый вид.
 Товарищи!
 Взвесьте!
В Париж гастролировать едущий летом,
поэт,
 почтенный сотрудник «Известий»,
царапает стул когтём из штиблеты.
Вчера человек —
 единым махом
клыками свой размедведил вид я!
Косматый.
 Шерстью свисает рубаха.
Тоже туда ж!?
 В телефоны бабахать!?
К своим пошел!
 В моря ледовитые!

Размедвежьенье

Медведем,
 когда он смертельно сердится,
на телефон
 грудь
 на врага тяну.
А сердце
глубже уходит в рогатину!
Течет.
 Ручьища красной меди.
Рычанье и кровь.
 Лакай, темнота!
Не знаю,
 плачут ли,
 нет медведи,
но если плачут,
 то именно так.
То именно так:
 без сочувственной фальши
скулят,
заливаясь ущельной длиной.

И именно так их медвежий Бальшин,
скуленьем разбужен, ворчит за стеной.
Вот так медведи именно могут:
недвижно,
 здравши морду,
 как те,
повыть,
 извыться
 и лечь в берлогу,
царапая логово в двадцать когтей.
Сорвался лист.
 Обвал.
 Беспокоит.
Винтовки-шишки
 не грохнули б враз.
Ему лишь взмедведиться может такое
сквозь слезы и шерсть, бахромящую глаз.

Протекающая комната

Кровать.
 Железки.
 Барахло одеяло.
Лежит в железках.
 Тихо.
 Вяло.
Трепет пришел.
 Пошел по железкам.
Простынь постельная треплется плеском.
Вода лизнула холодом ногу.
Откуда вода?
 Почему много?
Сам наплакал.
 Плакса.
 Слякоть.
Неправда —
 столько нельзя наплакать.
Чёртова ванна!
 Вода за диваном.
Под столом,
 за шкафом вода.
С дивана,
 сдвинут воды задеваньем,
в окно проплыл чемодан.

Камин...
 Окурок...
 Сам кинул.
Пойти потушить.
 Петушится.
 Страх.
Куда?
 К какому такому камину?
Верста.
 За верстою берег в кострах.
Размыло всё,
 даже запах капустный
с кухни
 всегдашний,
 приторно сладкий.
Река.
 Вдали берега.
 Как пусто!
Как ветер воет вдогонку с Ладоги!
Река.
 Большая река.
 Холодина.
Рябит река.
 Я в середине.
Белым медведем
 взлез на льдину,
плыву на своей подушке-льдине.
Бегут берега,
 за видом вид.
Подо мной подушки лед.
С Ладоги дует.
 Вода бежит.
Летит подушка-плот.
Плыву.
 Лихорадуюсь на льдине-подушке.
Одно ощущение водой не вымыто:
я должен
 не то под кроватные дужки,
не то
 под мостом проплыть под каким-то.
Были вот так же:
 ветер да я.
Эта река!..
 Не эта.
 Иная.

Нет, не иная!
 Было —
 стоял.
Было — блестело.
 Теперь вспоминаю.
Мысль растет.
 Не справлюсь я с нею.
Назад!
 Вода не выпустит плот.
Видней и видней...
 Ясней и яснее...
Теперь неизбежно...
 Он будет!
 Он вот!!!

Человек из-за 7-ми лет

Волны устои стальные моют.
Недвижный,
 страшный,
 упершись в бока
столицы,
 в отчаяньи созданной мною,
стоит
 на своих стоэтажных быках.
Небо воздушными скрепами вышил.
Из вод феерией стали восстал.
Глаза подымаю выше,
 выше...
Вон!
 Вон —
 опершись о перила моста...
Прости, Нева!
 Не прощает,
 гонит.
Сжался!
 Не сжалился бешеный бег.
Он!
 Он —
 у небес в воспаленном фоне,
прикрученный мною, стоит человек.
Стоит.
 Разметал изросшие волосы.
Я уши лаплю.
 Напрасные мнешь!

Я слышу
 мой,
 мой собственный голос.
Мне лапы дырявит голоса нож.
Мой собственный голос —
 он молит,
 он просится:
— Владимир!
 Остановись!
 Не покинь!
Зачем ты тогда не позволил мне
 броситься!
С размаху сердце разбить о быки?
Семь лет я стою.
 Я смотрю в эти воды,
к перилам прикручен канатами строк.
Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.
Когда ж,
 когда ж избавления срок?
Ты, может, к ихней примазался касте?
Целуешь?
 Ешь?
 Отпускаешь брюшко?
Сам
 в ихний быт,
 в их семейное счастье
намереваешься пролезть петушком?!
Не думай! —
 Рука наклоняется вниз его.
Грозится
 сухой
 в подмостную кручу.
— Не думай бежать!
 Это я
 вызвал.
Найду.
 Загоню.
 Доконаю.
 Замучу!
Там,
 в городе,
 праздник.
 Я слышу гром его.

Так что ж!
 Скажи, чтоб явились они.
Постановление неси исполкомово.
Мúку мою конфискуй,
 отмени.
Пока
 по этой
 по Невской
 по глуби
спаситель-любовь
 не придет ко мне,
скитайся ж и ты,
 и тебя не любят.
Греби!
 Тони меж домовых камней! —

Спасите!

Стой, подушка!
 Напрасное тщенье.
Лапой гребу —
 плохое весло.
Мост сжимается.
 Невским течением
меня несло,
 несло и несло.
Уже я далёко.
 Я, может быть, за́ день.
За дeнь
 от тени моей с моста.
Но гром его голоса гонится сзади.
В погоне угроз паруса распластал. —
Забуть задумал невский блеск?!
Ее заменишь?!
 Некем!
По гроб запомни переплеск,
плескавший в «Человеке». —
Начал кричать.
 Разве это осилите?!
Буря басит —
 не осилить вовек.
Спасите! Спасите! Спасите! Спасите!
Там
 на мосту
 на Неве
 человек!

Бегут берега —
за видом вид.
Подо мной —
подушка-лед.
Ветром ладожским гребень завит.
Летит
льдышка-плот.
Спасите! — сигналю ракетой слов.
Падаю, качкой добитый.
Речка кончилась —
мореросло.
Океан —
большой до обиды.
Спасите!
Спасите!..
Сто раз подряд
реву батареей пушечной.
Внизу
подо мной
растет квадрат,
остров растет подушечный.
Замирает, замирает,
замирает гул
Глуше, глуше, глуше...
Никаких морей.
Я —
на снегу.
Кругом —
вёрсты суши.
Суша — слово.
Снегами мокра.
Подкинут метельной банде я.
Что за земля?
Какой это край?
Грен-
лап-
люб-ландия?

Боль были

Из облака вызрела лунная дынка,
стену постепенно в тени оттеня.
Парк Петровский.
 Бегу.
 Ходынка
за мной.
 Впереди Тверской простыня.
А-у-у-у!
 К Садовой аж выкинул «у»!
Оглоблей
 или машиной,
но только
 мордой
 аршин в снегу.
Пулей слова матершины.
«От нэпа ослеп?!
Для чего глаза впряжены?!
Эй, ты!
 Мать твою разнэп!
Ряженный!»
Ах!
 Да ведь
я медведь.
Недоразуменье!
 Надо —
 прохожим,
что я не медведь,
 только вышел похожим.

Спаситель

Вон
 от заставы
 идет человечек.
За шагом шаг вырастает короткий.
Луна
 голову вправила в венчик.
Я уговорю,
 чтоб сейчас же,
 чтоб в лодке.
Это — спаситель!
 Вид Иисуса.
Спокойный и добрый,
 венчанный в луне.

Он ближе.
Лицо молодое безусо.
Совсем не Исус.
Нежней.
Юней.
Он ближе стал,
он стал комсомольцем.
Без шапки и шубы.
Обмотки и френч.
То сложит руки,
будто молится.
То машет,
будто на митинге речь.
Вата снег.
Мальчишка шел по вате.
Вата в золоте —
чего уж пошловатей?!
Но такая грусть,
что стой
и грустью ранься!
Расплывайся в процыганенном романсе.

Романс

Мальчик шел, в закат глаза уставя.
Был закат непревзойдимо желт.
Даже снег желтел к Тверской заставе.
Ничего не видя, мальчик шел.
Шел,
вдруг
встал.
В шелк
рук
сталь.
С час закат смотрел, глаза уставя,
за мальчишкой легшую кайму.
Снег, хрустя разламывал суставы.
Для чего?
Зачем?
Кому?
Был вором-ветром мальчишка обыскан.
Попала ветру мальчишки записка.
Стал ветер Петровскому парку звонить:
— Прощайте...
Кончаю...
Прошу не винить...

Ничего не поделаешь

До чего ж
на меня похож!
Ужас.
 Но надо ж!
 Дернулся к луже.
Залитую курточку стягивать стал.
Ну что ж, товарищ!
 Тому еще хуже —
семь лет он вот в это же смотрит с моста.
Напаялил еле —
 другого калибра.
Никак не намылишься —
 зубы стучат.
Шерстищу с лапищ и с мордищи выбрил.
Гляделся в льдину...
 бритвой луча...
Почти,
 почти такой же самый.
Бегу.
 Мозги шевелят адресами.
Во-первых,
 на Пресню,
 туда,
 по задворкам.
Тянет инстинктом семейная норка.
За мной
 всероссийские,
 теряясь точкой,
сын за сыном,
 дочка за дочкой.

Всехные родители

— Володя!
 На Рождество!
Вот радость!
 Радость-то во!.. —
Прихожая тьма.
 Электричество комната.
Сразу —
 наискось лица родни.
— Володя!
 Господи!
 Что это?
 В чем это?

Ты в красном весь.
Покажи воротник!
— Не важно, мама,
дома вымою.
Теперь у меня раздолье —
вода.
Не в этом дело.
Родные!
Любимые!
Ведь вы меня любите?
Любите?
Да?
Так слушайте ж!
Тетя!
Сестры!
Мама!
Тушите елку!
Заприте дом!
Я вас поведу...
вы пойдете...
Мы прямо...
сейчас же...
все
возьмем и пойдём.
Не бойтесь —
это совсем недалёко —
600 с небольшим этих крохотных верст.
Мы будем там во мгновение ока.
Он ждет.
Мы вылезем прямо на мост.
— Володя,
родной,
успокойся! —
Но я им
на этот семейственный писк голосов:
— Так что ж?!
Любовь заменяете чаем?
Любовь заменяете штоккой носков?

Путешествие с мамой

Не вы —
не мама Альсандра Альсеевна.
Вселенная вся семьею засеяна.

Смотрите,
 мачт корабельных щетина —
в Германию врезался Одера клин.
Слезайте, мама,
 уже мы в Штеттине.
Сейчас,
 мама,
 несемся в Берлин.
Сейчас летите, мотором урча, вы:
Париж,
 Америка,
 Бруклинский мост,
Сахара,
 и здесь
 с негритоской курчавой
лакает семейкой чай негритос.
Сомнете периной
 и волю
 и камень.
Коммуна —
 и то завернется комом.
Столетия
 жили своими домками
и нынче зажили своим домкомом!
Октябрь прогремел,
 карающий,
 судный.
Вы
 под его огнepёрым крылом
расставились,
 разложили посудины.
Паучьих волос не расчешешь колом.
Исчезни, дом,
 родимое место!
Прощайте! —
 Отбросил ступёней последок.
— Какое тому поможет семейство?!
Любовь цыплячья!
 Любвишка наседок!

Пресненские миражи

Бегу и вижу —
 всем в виду
кудринскими вышками
себе навстречу
 сам
 иду
с подарками подмышками.
Мачт крестами на буре распластан,
корабль кидает балласт за балластом.
Будь проклята,
 опустошенная легкость!
Домами оскалила скалы далекость.
Ни люда, ни заставы нет.
Горят снега,
 и го́ло.
И только из-за ставенек
в огне иголки елок.
Ногам вперекор,
 тормозами на быстрые
вставали стены, окнами выстроясь.
По стеклам
 тени
 фигурками тира
вертелись в окне,
 зазывали в квартиры.
С Невы не сводит глаз,
 продрог,
стоит и ждет —
 помогут.
За первый встречный за порог
закидываю ногу.
В передней пьяный проветривал бредни.
Стрезвел и дернул стремглав из передней.
Зал заливался минуты две:
— Медведь,
 медведь,
 медведь,
 медв-е-е-е-е... —

Муж Фёклы Давидовны со мной и со всеми знакомыми

Потом,
 извертясь вопросительным знаком,
хозяин полглаза просунул:
 — Однако!

Маяковский!

Хорош медведь! —

Пошел хозяин любезностями медоветь:

— Пожалуйста!

Прошу-с.

Ничего —

я боком.

Нечаянная радость-с, как сказано у Блока.

Жена — Фекла Двидна.

Дочка,

точь-в-точь

в меня, видно —

семнадцать с половиной годочков.

А это...

Вы, кажется, знакомы?! —

Со страха к мышам ушедшие в норы,

из-под кровати полезли партнеры.

Усища —

к стеклам ламповым пыльники —

из-под столов пошли собутыльники.

Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели.

Весь безлицый парад подсчитать ли?

Идут и идут процессией мирной.

Блестят из бород паутиной квартирной.

Все так и стоит столетья,

как было.

Не бьют —

и не тронулась быта кобыла.

Лишь вместо хранителей дýхов и фей

ангел-хранитель —

жилец в галифе.

Но самое страшное:

по росту,

по коже

одеждой,

сама походка моя! —

в одном

узнал —

близнецами похожи —

себя самого —

сам

я.

С матрацев,
вздымая постельные тряпки,
клопы, приветствуя, подняли лапки.
Весь самовар рассиялся в лучики —
хочет обнять в самоварные ручки.
В точках от мух
венок
с обоев
венчают голову сами собою.
Взыграли туш ангелочки-горнисты,
пророзовев из иконного глянца.
Исус,
приподняв
веночек тернистый,
любезно кланяется.
Маркс,
впряженный в алую рамку,
и то тащил обывательства лямку.
Запели птицы на каждой на жердочке,
герани в ноздри лезут из кадочек.
Как были
сидя сняты
на корточках,
радушно бабушки лезут из карточек.
Раскланялись все,
ослабились враз;
кто басом фразу,
кто в дискант
дьячком.
— С праздничком!
С праздничком!
С праздничком!
С праздничком!
С праз-
нич-
ком! —
Хозяин
то тронет стул,
то дунет,
сам со скатерти крошки вымел.
— Да я не знал!..
Да я б накануне...
Да, я думаю, занят...
Дом...
Со своими...

Бессмысленные просьбы

Мои свои?!

Д-а-а-а —

это особы.

Их ведьма разве сыщет на венике!

Мои свои

с Енисея

да с Оби

идут сейчас,

следят четвереньки.

Какой мой дом?!

Сейчас с него.

Подушкой-льдом

плыл Невой —

мой дом

меж дамб

стал льдом,

и там...

Я брал слова

то самые вкрадчивые,

то страшно рыча,

то вызвоня лирово.

От выгод —

на вечную славу сворачивал,

молил,

грозил,

просил,

агитировал.

— Ведь это для всех...

для самих...

для вас же...

Ну, скажем, «Мистерия» —

ведь не для себя ж?!

Поэт там и прочее...

Ведь каждому важен...

Не только себе ж —

ведь не личная блажь...

Я, скажем, медведь, выражаясь грубо...

Но можно стихи...

Ведь сдирают шкуру?!

Подкладку из рифм поставишь —

и шуба!..

Потом у камина...

там кофе...

курят...

Дело пустяшно:
 ну, минут на десять...
Но нужно сейчас,
 пока не поздно...
Похлопать может...
 Сказать —
 надейся!..
Но чтоб теперь же...
 чтоб это серьезно... —
Слушали, улыбаясь, именитого скомороха.
Катали по столу хлебные мякиши.
Слова об лоб
 и в тарелку —
 горохом.
Один расчувствовался,
 вином размягший:
— Поооостой...
 поооостой...
Очень даже и просто.
Я пойду!..
 Говорят, он ждет...
 на мосту...
Я знаю...
 Это на углу Кузнецкого моста.
Пустите!
 Нукося! —
По углам —
 зуд:
 — Назззз-ю-зззюкался!
Будет ныть!
Поесть, попить,
попить, поесть —
и за бб!
Теорию к лешему!
Нэп —
 практика.
Налей,
 нарежь ему.
Футурист,
 налягте-ка! —
Ничуть не смущаясь челюстей целостью,
пошли греметь о челюсть челюстью.
Шли
 из артезианских прорв
меж рюмкой
 слова поэтических споров.

В матрац,
 поздоровавшись,
 влезли клопы.
На вещи насила столетняя пыль.
А тот стоит —
 в перила вбит.
Он ждет,
 он верит:
 скоро!
Я снова лбом,
 я снова в быт
вбиваюсь слов напором.
Опять
 атакую и вкривь, и вкось.
Но странно:
 слова проходят насквозь.

Необычайное

Стихает бас в комариные трельки.
Подбитые воздухом, стихли тарелки.
Обои,
 стены
 блёкли...
 блёкли...
Тонули в серых тонах офортных.
Со стенки
 на город разросшийся
 Бёклин
Москвой расставил «Остров мертвых».
Давным-давно.
 Подавно —
теперь.
 И нету прощя!
Вон
 в лодке,
 скутан саваном,
недвижный перевозчик.
Не то моря,
 не то поля —
их шорох тишью стерт весь.
А за морями —
 тополя
возносят в небо мертвость.

Что ж —
 ступлю!
 И сразу
 тополи
сорвались с мест,
 пошли,
 затопали.
Тополы стали спокойствия мерами,
ночей сторожами,
 милиционерами.
Расчетверившись,
 белый Харон
стал колоннадой почтамтских колонн.

Деваться некуда

Так с топором влезают в сон,
обметят спящелобых —
и сразу
 исчезает всё, и видишь только обух.
Так барабаны улиц
 в сон
войдут,
 и сразу вспомнится,
что вот тоска
 и угол вон,
за ним
 она —
 виновница.
Прикрывши окна ладонью угла,
стекло за стеклом вытягивал с краю.
Вся жизнь
 на карты окон легла.
Очко стекла —
 и я проиграю.
Арап —
 миражей шулер —
 по окнам
разметил нагло веселия крап.
Колода стекла
 торжеством яркоогним
сияет нагло у ночи из лап.
Как было раньше —
 вырасти б,
стихом в окно влететь.

Нет,
 никни к стѣнной сырости.
И стих
 и дни не те.
Морозят камни.
 Дрожь могил.
И редко ходят веники.
Плевками,
 снявши башмаки,
вступаю на ступеньки.
Не молкнет в сердце боль никак,
кует к звену звено.
Вот так,
 убив,
 Раскольников
пришел звенеть в звонок.
Гостьѣ идет по лестнице...
Ступеньки бросил —
 стенкою.
Стараюсь в стенку вплесниться,
и слышу —
 струны тенькают.
Быть может, села
 вот так
 невзначай она.
Лишь для гостей,
 для широких масс.
А пальцы
 сами
 в пределе отчаянья
ведут бесшабашье, над горем глумясь.

Друзья

А вóроны гости?!
 Дверье крыло
раз сто по бокам коридора исхлопано.
Горлань горланья,
 оранья орлó
ко мне доплеталось пьяное допьяна.
Полоса
щели.
Голосá
еле:

«Аннушка —
ну и румянушка!»
Пирог...
 Печка...
Шубу...
 Помогает...
 С плечика...
Сглушило слова уанстепным темпом,
и снова слова сквозь темп уанстепа:
«Что это вы так развеселились?
Разве?!»
 Слились...
Опять полоса осветила фразу.
Слова непонятны —
особенно сразу.
Слова так
 (не то, чтоб со зла):
«Один тут сломал ногу,
так вот веселимся, чем бог послал,
танцуем себе понемногу».
Да,
 их голосá.
 Знакомые выкрики.
Застыл в узнавании,
 расплющился, нем,
фразы крою по выкрикам выкройке.
Да —
 это они —
 они обо мне.
Шелест.
 Листают, наверное, ноты.
«Ногу, говорите?
 Вот смешно-то!»
И снова
 в тостах стаканы исчоканы,
и сыплют стеклянные искры из щек они.
И снова
 пьяное:
 «Ну и интересно!
Так, говорите, пополам и треснул?»
«Должен огорчить вас, как ни грустно,
не треснул, говорят,
 а только хрустнул».

И снова
хлопанье двери и карканье,
и снова танцы, полами исшарканные.
И снова
стен раскаленные степи
под ухом звенят и вздыхают в тустепе.

Только б не ты

Стою у стенки.
Я не я.
Пусть бредом жизнь смололась.
Но только б, только б не ея
невыносимый голос!
Я день,
я год обыденщине прёдал,
я сам задыхался от этого бреда.
Он
жизнь дымком квартирошным выел.
Звал:
решишь
с этажей
в мостовые!
Я бегал от зова разинутых окон,
любя убегал.
Пускай однобоко,
пусть лишь стихом,
лишь шагами ночными —
строчишь,
и становятся души строчными,
и любишь стихом,
а в прозе немею.
Ну вот, не могу сказать,
не умею.
Но где, любимая,
где, моя милая,
где
— в песне! —
любви моей изменил я?
Здесь
каждый звук,
чтоб признаться,
чтоб кликнуть.
А только из песни — ни слова не выкинуть.

Шагание стиха

Последняя самая эта секунда,
секунда эта
 стала началом,
началом
 невероятного гуда.
Весь север гудел.
 Гудения мало.
По дрожи воздушной,
 по колебанию
догадываюсь —
 оно над Любаныю.
По холоду,
 по хлопанию дверью
догадываюсь —
 оно над Тверью.

Последняя самая эта секунда,

179

По шуму —
настежь окна раскинул —
догадываюсь —
кинулся к Клину.
Теперь грозой Разумовское з́алил.
На Николаевском теперь
на вокзале.
Всего дыхание одно,
а под ногой
ступени
пошли,
поплыли ходуном,
вздымаясь в невоской пене.
Ужас дошел.
В мозгу уже весь.
Натягивая нервов строй,
разгуживаясь всё и разгуживаясь,
взорвался,
пригвоздил:
— Стой!
Я пришел из-за семи лет,
из-за верст шести ста,
пришел приказать:
Нет!
Пришел повелеть:
Оставь!
Оставь!
Не надо
ни слова,
ни просьбы.
Что толку —
тебе
одному
удалось бы?!
Жду,
чтоб землей обезлюбленной
вместе,
чтоб всей
мировой
человечьей гущей.
Семь лет стою,
буду и двести
стоять пригвожденный,
этого ждущий.

У лет на мосту
на презренье,
на смех,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
стою за всех,
за всех расплачусь,
за всех расплачусь. —

Ротонда

Стены в тустепе ломались
на́ три,
на четверть тона ломались,
на сто́...
Я, стариком,
на каком-то Монмартре
лезу —
стотысячный случай —
на стол.
Давно посетителям осточертело.
Знают заранее
всё, как по нотам:
буду звать
(новое дело!)
куда-то идти,
спасать кого-то.
В извинение пьяной нагрузки
хозяин гостям объясняет:
— Русский! —
Женщины —
мяса и тряпок вяза́нки —
смеются,
стащить стараются
за́ ноги:
«Не пойдем.
Дудки!
Мы — проститутки».
Быть Сены полосе б Невой!
Грядущих лет брызго́й
хожу по мгле по Сеновой
всей нынчести изгой.

Сажённый,
 обсмеянный,
 сáженный,
 битый,
в бульварах
 ору через каски военщины:
— Под красное знамя!
 Шагайте!
 По быту!
Сквозь мозг мужчины!
 Сквозь сердце женщины! —
Сегодня
 гнали
 в особенном раже.
Ну и жара же!

Полусмерть

Надо
 немного обветрить лоб.
Пойду,
 пойду, куда ни вело б.
Внизу свистят сержанты-трельщики.
Тело
 с панели
 уносят метельщики.
Рассвет.
 Подымаюсь сенскою сенью,
 синематографской серой тенью.
Вот —
 гимназистом смотрел их
 с парты —
мелькают сбоку Франции карты.
Воспоминаний последним током
тащился прощаться
 к странам Востока.

Случайная станция

Случайная станция
С разлету рванулся —
 и стал,
 и нá мель.
Лохмотья мои зацепились штанами.

Ощупал —
 скользко,
 луковка точно.
Большое очень.
 Испозолочено.
Под луковкой
 колоколов завыванье.
Вечер зубцы стенные выкаймил.
На Иване я
Великом.
Вышки кремлевские пиками.
Московские окна
 видятся еле.
Весело.
 Елками зарождествели.
В ущелья кремлёвы волна ударяла:
то песня,
 то звона рождественский вал.
С семи холмов,
 низвергаясь Дарьялом,
бросала Тереком
 праздник
 Москва.
Вздымается волос.
 Лягушкою тужусь.
Боюсь —
 оступлюсь на одну только пядь,
и этот
 старый
 рождественский ужас
меня
 по Мясницкой закружит опять.

Повторение пройденного

Руки крестом,
 крестом
 на вершине,
ловлю равновесие,
 страшно машу.
Густеет ночь,
 не вижу в аршине.
Луна.
 Подо мною
 льдистый Машук.

Никак не справлюсь с моим равновесием,
как будто с Вербы —

руками картонными.

Заметят.

Отсюда виден весь я.

Смотрите —

Кавказ кишит Пинкертонами.

Заметили.

Всем сообщили сигналом.

Любимых,

друзей

человечьи ленты

со всей вселенной сигналом согнало.

Спешат рассчитаться,

идут дуэлянты.

Щетинясь,

щерясь

еще и еще там...

Плюют на ладони.

Ладонями сочными,

руками,

ветром,

нещадно,

без счета

в мочалку щеку истрепали пощечинами.

Пассажи —

перчаточных лавок початки,

дамы,

духи развевая паточные,

снимали,

в лицо швыряли перчатки,

швырялись в лицо магазины перчаточные.

Газеты,

журналы,

зря не глазейте!

На помощь летящим в морду вещам

ругней

за газетиной взвейся газетина.

Слухом в ухо!

Хватай, клевета!

И так я калека в любовном боленьи.

Для ваших оставьте помоев ушат.

Я вам не мешаю.

К чему оскорбления!

Я только стих,
я только душа.
А снизу:
— Нет!
Ты враг наш столетний.
Один уж такой попался —
гусар!
Понюхай порох,
свинец пистолетный.
Рубаху враспашку!
Не празднуй труса! —

Последняя смерть

Хлеще ливня,
грома бодрей,
Бровь к брови,
ровненько,
со всех винтовок,
со всех батарей,
с каждого маузера и браунинга,
с сотни шагов,
с десяти,
с двух,
в упор —
за зарядом заряд.
Станут, чтоб перевести дух,
и снова свинцом сорят.
Конец ему!
В сердце свинец!
Чтоб не было даже дрожи!
В конце концов —
всему конец.
Дрожи конец тоже.

То, что осталось

Окончилась бойня.
Веселье клокочет.
Смакуя детали, разлезлись шажком.
Лишь на Кремле
поэтовы клочья
сияли по ветру красным флажком.
Да небо
попрежнему
лирикой звёздится.

Глядит
 в удивленьи небесная звездъ —
затрубадурила Большая Медведица.
Зачем?
 В королевы поэтов пролезть?
Большая,
 неси по векам-Араратам
сквозь небо потопа
ковчегом-ковшом!
С борта
 звездолётом
 медведьинским братом
горланю стихи мирозданию в шум.
Скоро!
 Скоро!
 Скоро!
В пространство!
 Пристальней!
Солнце блестит горы.
Дни улыбаются с пристани.

Прощение на имя.....

ПРОШУ ВАС, ТОВАРИЩ ХИМИК, ЗАПОЛНИТЕ САМИ!

Пристает ковчег.

Сюда лучами!

Пристань.

Эй!

Кидай канат ко мне!

И сейчас же

ощутил плечами

тяжесть подоконничьих камней.

Солнце

ночь потопа высушило жаром.

У окна

в жару встречаю день я.

Только с глобуса — гора Килиманджаро.

Только с карты африканской — Кения.

Голой головою глобус.

Я над глобусом

от горя горблюсь.

Мир

хотел бы

в этой груди горя

настоящие облапить груди-горы.

Чтобы с полюсов

по всем жильям

лаву раскатил, горящ и каменист,

так хотел бы разрыдаться я,

медведь-коммунист.

Столбовой отец мой

дворянин,

кожа на моих руках тонка.

Может,

я стихами выхлебаю дни,

и не увидав токарного станка.

Но дыханием моим,

сердцебиеньем,

голосом,

каждым острием издыбленного в ужас волоса,

дырами ноздрей,

гвоздями глаз,

зубом, исскрежещенным в звериный лязг,

ёжью кожи,

гнева брови сборами,

триллионом пор,
дословно —
всеми порогами
в осень,
 в зиму,
 в весну,
 в лето,
в день,
 в сон
не приемлю,
 ненавижу это
всё.
Всё,
 что в нас
 ушедшим рабьим вбито,
всё,
 что мелочинным роем
оседало
 и осело бытом
даже в нашем
 краснофлагом строе.
Я не доставлю радости
видеть,
 что сам от заряда стих.
За мной не скоро потянете
об упокой его душу таланте.
Меня
 из-за угла
 ножом можно.
Дантесам в мой не целить лоб.
Четырежды состарюсь — четырежды
омоложенный,
до гроба добраться чтоб.
Где б ни умер,
 умру поя.
В какой трущобе ни лягу,
знаю —
 достойн лежать я
с легшими под красным флагом.
Но за что ни лечь —
 смерть есть смерть.
Страшно — не любить,
 ужас — не сметь.

Пусть во что хотите желания удлинятся —

Вижу,
 вижу ясно, до деталей.
Воздух в воздух,
 будто камень в камень,
недоступная для тленов и крошений,
рассиявшись,
 высится веками
мастерская человеческих воскрешений.
Вот он,
 большелобый
 тихий химик,
перед опытом наморщил лоб.
Книга —
 «Вся земля», —
 выискивает имя.
Век двадцатый.
 Воскресить кого б?
— Маяковский вот...
 Поищем ярче лица —
недостаточно поэт красив. —
Крикну я
 вот с этой,
 с нынешней страницы:
— Не листай страницы!
 Воскреси!

Надежда

Сердце мне вложи!
 Кровищу —
 до последних жил.
В череп мысль вдолби!
Я свое, земное, не дожил,
на земле
 свое не долюбил.
Был я сажень ростом.
 А на что мне сажень?
Для таких работ годна и тля.
Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,
вплющился очками в комнатный футляр.
Что хотите, буду делать даром —
чистить,
 мыть,
 стеречь,
 мотаться,
 мечь.

Я могу служить у вас
 хотя б швейцаром.
Швейцары у вас есть?
Был я весел —
 толк веселым есть ли,
если горе наше непролазно?
Нынче
 обнажают зубы если,
только, чтоб хватить,
 чтоб лязгнуть.
Мало ль что бывает —
 тяжесть
 или горе...
Позовите!
 Пригодится шутка дурья.
Я шарадами гипербол,
 аллегорий
буду развлекать,
 стихами балагурия.
Я любил...
 Не стоит в старом рыться.
Больно?
 Пусть...
 Живешь и болью дорожаешь.
Я зверье еще люблю —
 у вас
 зверинцы
есть?
 Пустите к зверю в сторожа.
Я люблю зверье.
 Увидишь собачонку —
тут у булочной одна —
 сплошная плешь, —
из себя
 и то готов достать печенку.
Мне не жалко, дорогая,
 ещь!

Любовь

Может,
может быть,
когда-нибудь
дорожкой зоологических аллей

и она —
она зверей любила —
тоже ступит в сад,
улыбаясь,
вот такая,
как на карточке в столе.
Она красивая —
ее, наверно, воскресят.
Ваш
тридцатый век
обгонит стаи
сердце раздиравших мелочей.
Нынче недолюбленное
наверстаем
звездностью бесчисленных ночей.
Воскреси
хотя б за то,
что я
поэтом
ждал тебя,
откинул будничную чушь!
Воскреси меня
хотя б за это!
Воскреси —
свое дожить хочу!
Чтоб не было любви — служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.
Постели прокляв,
встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
Чтоб день,
который горем старящ,
не христарадничать, моля.
Чтоб вся
на первый крик:
— Товарищ! —
оборачивалась земля.
Чтоб жить
не в жертву дома дырам.
Чтоб мог
в родне
отныне
стать
отец
по крайней мере миром,
землей по крайней мере — мать.
1923 г

Андрей Платонович Платонов

Рассказ «Фро»

Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание; провожающие ушли с пассажирской платформы обратно к оседлой жизни, появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели.

— Посторонитесь, гражданка! — сказал носильщик двум одиноким полным ногам.

Женщина отошла к стене, к почтовому ящику и прочитала на нем сроки выемки корреспонденции: вынимали часто, можно писать письма каждый день. Она потрогала пальцем железо ящика — оно было прочное, ничья душа в письме не пропадет отсюда.

За вокзалом находился новый железнодорожный город; по белым стенам домов шевелились тени древесных листьев, вечернее летнее солнце освещало природу и жилища ясно и грустно, точно сквозь прозрачную пустоту, где не было воздуха для дыхания. Накануне ночи в мире все было слишком отчетливо видно, ослепительно и призрачно — он казался поэтому несуществующим.

Молодая женщина остановилась от удивления среди столь странного света: за двадцать лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства, она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха, от надежды, что любимый человек придет обратно. Она увидела свое отражение в окне парикмахерской: наружность пошлая, волосы взбиты и положены воланами (такую прическу носили когда-то в девятнадцатом веке), серые глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью — она привыкла любить уехавшего, она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной, скучной души томилась и произрастала вторая милая жизнь. Но сама она не могла любить, как хотела, — сильно и постоянно; она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым.

Она жила в новой трехкомнатной квартире; в одной комнате жил ее вдовый отец — паровозный машинист, в двух других помещалась она с мужем, который теперь уехал на Дальний Восток, настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы. Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества или еще для чего-то: жена точно не знала.

По старости лет отец ездил редко. Он числился резервным механиком, заменяя заболевших людей, работая на обкатке паровозов, вышедших из ремонта, или водя легковесные составы ближнего сообщения. Год тому назад его попробовали перевести на пенсию. Старик, не зная, что это такое, согласился, но, прожив четыре дня на свободе, на пятый день вышел за семафор, сел на бугор в полосе отчуждения и просидел там до темной ночи, следя плачущими глазами за паровозами, тяжело бегущими во главе поездов. С тех пор он начал ходить на тот бугор ежедневно, чтобы смотреть на машины, жить сочувствием и воображением, а к вечеру являться домой

усталым, будто вернувшись с тягового рейса. На квартире он мыл руки, вздыхал, говорил, что на девяти тысячном уклоне у одного вагона отвалилась тормозная колодка или еще случилось что-нибудь такое, затем робко просил у дочери вазелина, чтобы смазать левую ладонь, якобы натруженную о тугой регулятор, ужинал, бормотал и вскоре спал в блаженстве. Наутро отставной механик снова шел в полосу отчуждения и проводил очередной день в наблюдении, в слезах, в фантазии, в сочувствии, в неистовстве одинокого энтузиазма. Если с его точки зрения на идущем паровозе была неполадка или машинист вел машину не по форме, он кричал ему со своего высокого пункта осуждение и указание: "Воды перекачал! Открой кран, стервец! Продуй!" — "Песок береги: станешь на подъеме! Чего ты сыплешь его сдуру?" — "Подтяни фланцы, не теряй пара: что у тебя -машина или баня?" При неправильном составе поезда, когда легкие пустые платформы находились в голове и в середине поезда и могли быть выдавлены при экстренном торможении, свободный механик грозил кулаком с бугра хвостовому кондуктору. А когда шла машина самого отставного машиниста и ее вел его бывший помощник Вениамин, старик всегда находил наглядную неисправность в паровозе — при нем так не было — и советовал машинисту принять меры против его небрежного помощника. "Веньяминчик, Веньяминчик, брызни ему в морду!" — кричал старый механик с бугра своего отчуждения.

В пасмурную погоду он брал с собой зонт, а обед ему приносила на бугор его единственная дочь, потому что ей было жалко отца, когда он возвращался вечером худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вождения. Но недавно, когда устаревший механик по обычаю орал и ругался со своей возвышенности, к нему подошел парторг депо товарищ Пискунов; парторг взял старика за руку и отвел в депо. Конторщик депо снова записал старика на паровозную службу. Механик влез в будку одной холодной машины, сел у котла и задремал, истощенный собственным счастьем, обнимая одной рукою паровозный котел, как живот всего трудящегося человечества, к которому он снова приобщился.

— Фрося! — сказал отец дочери, когда она вернулась со станции, проводив мужа в дальний путь. — Фрося, дай мне из печки чего-нибудь пожевать, а то как бы меня ночью не вызвали ехать...

Он ежеминутно ожидал, что его вызовут в поездку, но его вызывали редко — раз в три-четыре дня, когда подбирался сборный, легковесный маршрут либо случалась другая нетрудная нужда. Все-таки отец боялся выйти на работу несатытым, неподготовленным, угрюмым, поэтому постоянно заботился о своем здоровье, бодрости и правильном пищеварении, расценивая сам себя как ведущий железный кадр.

— Гражданин механик! — с достоинством и членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе, и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию.

Фрося вынула горшок из духового шкафа и дала отцу есть. Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь, свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце и непрерывно срабатывало текущую кровь и жизненное чувство.

Она ушла в свою комнату. На столе у нее была детская фотография ее мужа; позже детства он ни разу не снимался, потому что не интересовался собой и не верил в значение своего лица. На пожелтевшей карточке стоял мальчик с большой, младенческой головой, в бедной рубашке, в дешевых штанах и босой; позади него росли волшебные деревья, и в отдалении находился фонтан и дворец. Мальчик глядел внимательно в еще малознакомый мир, не замечая позади себя прекрасной жизни на холсте фотографа. Прекрасная жизнь была в самом этом мальчике с широким, воодушевленным и робким лицом, который держал в руках ветку травы вместо игрушки и касался земли доверчивыми голыми ногами.

Уже ночь наступила. Поселковый пастух пригнал на ночлег молочных коров из степи. Коровы мычали, просясь на покой к хозяевам, женщины, домашние хозяйки, уводили их ко двору; долгий день остывал в ночь; Фрося сидела в сумраке в блаженстве любви и памяти к уехавшему человеку. За окном, начав прямой путь в небесное счастливое пространство, росли сосны, слабые голоса каких-то ничтожных птиц напевали последние, дремлющие песни, сторожа тьмы, кузнечики, издавали свои кроткие мирные звуки — о том, что все благополучно и они не спят и видят.

Отец спросил у Фроси, не пойдет ли она в клуб: там сегодня новая постановка, бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва.

— Нет, — сказала Фрося, — я не пойду. Я по мужу буду скучать.

— По Федьке? — произнес механик. — Он явится: пройдет один год, и он тут будет... Скучай себе, а то, что ж! Я, бывало, на сутки, на двое уеду, твоя покойница мать и то скучала: мещанка была!

— А я вот не мещанка, а скучаю все равно! — с удивлением проговорила Фрося.
— Нет, наверно, я тоже мещанка...

Отец успокоил ее:

— Ну какая ты мещанка!.. Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были...

— Папа, ступай в свою комнату, — сказала Фрося. — Я тебе скоро ужинать дам, я сейчас хочу быть одна...

— Ужинать сейчас пора! — согласился отец. — А то кабы из депо вызывалыцик не пришел: может, заболел кто, либо запьянствовал, или в семействе драма — мало ли что. Я тогда должен враз явиться: движение остановиться никогда не может!.. Эх, Федька твой на курьерском сейчас мчится — зеленые сигналы ему горят, на сорок километров вперед ему дорогу освобождают, механик далеко глядит, машину ему электричество освещает, -все как полагается!..

Старик мешкал уходить, топтался и бормотал свои слова дальше: он любил быть с дочерью или с другим человеком, когда паровоз не занимал его сердца и ума.

— Папа, ступай ужинать! — велела ему дочь; она хотела слушать кузнечиков, видеть ночные сосны за окном и думать про мужа.

— Ну, на дерьмо сошла! — тихо сказал отец и удалился прочь.

Накормив отца, Фрося ушла из дому. В клубе шло ликование. Там играла музыка, потом слышно было, как пел хор затейников из кондукторского резерва: "Ах, ель, что за ель! Ну что за шишечки на ней!.." "Ту-ту-ту-ту" — паровоз: "ру-ру-ру-ру" — самолет; "пыр-пыр-пыр-пыр" — ледокол... Вместе с нами нагибайся, вместе с нами

подымайся, говори "ту-ту", "ру-ру", шевелился каждый гроб, больше пластики, культуры, производство — наша цель!.."

Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась ради радости, вслед за затейниками.

Фрося прошла мимо; дальше уже было пусто, начинались защитные посадки по сторонам главного пути. Издали, с востока шел скорый поезд, паровоз работал на большой отсечке, машина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед сияющим прожектором. Этот поезд встретил где-то курьерский состав, бегущий на Дальний Восток, эти вагоны видели его позже, чем рассталась Фрося со своим любимым человеком, и она теперь с прилежным вниманием разглядывала скорый поезд, который был рядом с ее мужем после нее. Она пошла обратно к станции, но, пока она шла, поезд постоял и уехал; хвостовой вагон исчез во тьму, забывая про всех встречных и минувших людей. На перроне и внутри вокзала Фрося не увидела ни одного незнакомого, нового человека — никто из пассажиров не сошел со скорого поезда, не у кого было спросить что-нибудь — про встречный курьерский поезд и про мужа. Может быть, кто-нибудь видел его и знает что!

Но в вокзале сидели лишь две старушки, ожидавшие полуночного поезда местного сообщения, и дневной мужик опять мел ей сор под ноги. Они всегда метут, когда хочется стоять и думать, им никто не нравится.

Фрося отошла немного от метущего мужика, но он опять подбирался к ней.

— Вы не знаете, — спросила она его, — что курьерский поезд номер второй — он благополучно едет? Он днем уехал от нас... Что на станцию -ничего не сообщали о нем?..

— На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет, — сказал уборщик. — Сейчас поездов не ожидается: идите в вокзал, гражданка... Постоянно тут публичность разная находится — лежали бы дома на койках и читали газету. Нет, они не могут — надо посорить пойти...

Фрося отправилась по путям, по стрелкам — в другую сторону от вокзала. Там было круглое депо товарных паровозов, углеподача, шлаковые ямы и паровозный круг. Высокие фонари ярко освещали местность, над которой бродили тучи пара и дыма: некоторые машины мощно сифонили, подымая пар для поездки, другие спускали пар, остужаясь под промывку.

Мимо Фроси прошли четыре женщины с железными совковыми лопатами, позади них шел мужчина, нарядчик или бригадир.

— Кого потеряла здесь, красавица? — спросил он у Фроси. — Потеряла — не найдешь, кто уехал — не вернется... Идем с нами транспорту помогать!

Фрося задумалась.

— Давай лопату! — сказала она.

— На тебе мою, — ответил бригадир и подал женщине инструмент. -Бабы! — сказал он прочим женщинам... — Ступайте становиться на третью яму, а я буду на первой...

Он отвел Фросю на шлаковую яму, куда паровозы очищали свою топку, и велел работать, а сам ушел. В яме уже работали две другие женщины, выкидывая наружу

горячий шлак. Фрося тоже спустилась к ним и начала трудиться, довольная, что с ней рядом находятся неизвестные подруги. От гари и газа дышать было тяжело, кидать шлак наверх оказалось нудно и несподручно, потому что яма была узкая и жаркая. Но зато в душе Фроси стало лучше: она здесь развлекалась, жила с людьми-подругами и видела большую, свободную ночь, освещенную звездами и электричеством. Любовь мирно спала в ее сердце; курьерский поезд далеко удалился, на верхней полке жесткого вагона спал, окруженный Сибирью, ее милый человек. Пусть он спит и не думает ничего! Пусть машинист глядит далеко вперед и не допустит крушения!

Вскоре Фрося и еще одна женщина вылезли из ямы. Теперь нужно было выкинутый шлак нагрузить на платформу. Швыряя гарь за борт платформы, женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили, чтоб отдыхать и дышать воздухом.

Подруге Фроси было лет тридцать. Она зябла чего-то и поправляла или жалела на себе бедную одежду. Ее сегодня выпустили из ареста, она просидела там четыре дня по навету злого человека. Ее муж служит сторожем, он бродит с берданкой вокруг кооператива всю ночь, получает шестьдесят рублей в месяц. Когда она сидела, сторож плакал по ней и ходил к начальству просить, чтоб ее выпустили, а она жила до ареста с одним полубовником, который рассказал ей нечаянно, под сердце (должно быть, от истомы или от страха), про свое мошенничество, а потом, видно, испугался и хотел погубить ее, чтоб не было ему свидетеля. Но теперь он сам попался, пускай уж помучается, а она будет жить с мужем на воле: работа есть, хлеб теперь продают, а одежду они вдвоем как-нибудь наживут.

Фрося сказала ей, что у нее тоже горе: муж уехал далеко.

— Уехал — не умер, назад возвратится! — утешительно сообщила Фросе ее рабочая подруга. — А я там в аресте заскучала, загорюнилась. Раньше не сидела, не привыкла, если б сидела, тогда и горя мало. А я уж всегда невинная такая была, что власть меня не трогала..., вышла я оттуда, пришла домой, муж мой обрадовался, заплакал, а обнимать меня боится; думает, я преступница — важный человек. А я такая же, я доступная... А вечером ему на дежурство надо уходить, таково печально нам стало. Он берет берданку -пойдем, говорит, я тебя фруктовой водой угощу: у меня двенадцать копеек есть, хватит на один стакан, мы пополам его выпьем. А у меня тоска идет, не проходит. Я ему велела сходить в буфет одному, пускай уж стакан сладкой воды он выпьет, а когда соберутся у нас деньги и отляжет от меня тюремная тоска, тогда мы сходим в буфет вдвоем и выпьем целую бутылку... Сказала я ему, а сама пошла на пути, сюда работать. Может, думаю, балласт где подбивают, рельсы меняют, либо еще что. Хоть и ночное время, а работа всегда случается. Думаю, вот с людьми там побуду, сердцем отойду, опять спокойная стану. И правда, поговорила сейчас с тобой, как сестру двоюродную встретила... Ну, давай платформу кончать: в конторе денег дадут, утром пойду хлеба куплю... Фрося! — крикнула она в шлаковую яму: там работала тетка верхней Фроси. — Много там осталось?

— Не, — ответила тамошняя Фрося. — Тут малость, поскребышки одни...

— Лезай сюда, — велела ей жена берданочного сторожа. — Кончим скорей, вместе расчет пойдем получать.

Пришел нарядчик.

— Ну, как, бабы? Кончили яму?.. Ага! Ну валите в контору, я сейчас приду. А там — деньги получите — там видно будет: кто в клуб танцевать, кто домой — детей починать! Вам делов много!

В конторе женщины расписались: Ефросинья Евстафьева, Наталья Букова и три буквы, похожие на слово "Ева" с серпом и молотом на конце вместо еще одной Ефросиньи, у которой был рецидив неграмотности. Они получили по три рубля двадцать копеек и пошли по своим дворам. Фрося Евстафьева и жена сторожа Наталья шли вместе. Фрося зазвала к себе домой новую подругу, чтобы умыться и почиститься.

Отец спал в кухне на сундуке, вполне одетый, даже в толстом зимнем пиджаке и в шапке со значком паровоза: он ожидал внезапного вызова либо какой-то всеобщей технической аварии, когда он должен мгновенно появиться в середине бедствия.

Женщины тихо справились со своими делами, немного попудрились, улыбнулись и ушли. Сейчас уже поздно было, в клубе, наверно, начались танцы и бой цветов. Пока муж Фроси спит в жестком вагоне вдалеке и его сердце все равно ничего не чувствует, не помнит, не любит ее, она точно одна на всем свете, свободная от счастья и тоски, и ей хотелось сейчас немного потанцевать, послушать музыку, подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется там один и сразу вспомнит ее, она, может быть, заплачет.

Две женщины бегом добежали до клуба. Прошел местный поезд: полночь, еще не очень поздно. В клубе играл самодеятельный джаз-оркестр. Фросю Евстафьеву сразу пригласил на тур вальса "Рио-Рита" помощник машиниста.

Фрося пошла в танце с блаженным лицом; она любила музыку, ей казалось, что в музыке печаль и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в ее собственной душе. В танце она слабо помнила сама себя, она находилась в легком сне, в удивлении, и тело ее, не напрягаясь, само находило нужное движение, потому что кровь Фроси согревалась от мелодии.

— А бой цветов уже был? — тихо, часто дыша, спросила она у кавалера.

— Только недавно кончился: почему вы опоздали? — многозначительно произнес помощник машиниста, точно он любил Фросю вечно и томился по ней постоянно.

— Ах, как жалко! — сказала Фрося.

— Вам здесь нравится? — спросил кавалер.

— Ну, конечно, да, — отвечала Фрося. — Здесь так прекрасно!

Наташа Букова танцевать не умела, она стояла в зале у стены и держала в руках шляпу своей ночной подруги.

В перерыве, когда отдыхал оркестр, Фрося и Наташа пили ситро и выпили две бутылки. Наташа только один раз была в этом клубе, и то давно. Она разглядывала чистое, украшенное помещение с кроткой радостью.

— Фрось, а Фрось! — прошептала она. — Что ж, при социализме-то все комнаты такие будут, ай нет?

— А какие же? Конечно, такие! — сказала Фрося. — Ну, может, немножко только лучше!

— Это бы ничего! — согласилась Наталья Букова.

После перерыва Фрося танцевала опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер. Музыка играла фокстрот "Мой бэби", диспетчер держал крепко свою партнершу, стараясь прижаться своею щекою к прическе Фроси, но Фросю не волновала эта скрытая ласка, она любила далекого человека, сжато и глухо было ее бедное тело.

— Ну, как же вас зовут? — говорил кавалер среди танца ей на ухо. — Мне знакомо ваше лицо, я только забыл, кто ваш отец.

— Фро! — ответила Фрося.

— Фро?.. Вы не русская?

— Ну, конечно, нет!

Диспетчер размышлял:

— Почему же нет?.. Ведь отец ваш русский: Евстафьев!

— Неважно, — прошептала Фрося. — Меня зовут Фро!

Они танцевали молча. Публика стояла у стен и наблюдала танцующих. Танцевало всего три пары людей, остальные стеснялись или не умели. Фрося ближе склонила голову к груди диспетчера, он видел под своими глазами ее пышные волосы в старинной прическе, и эта ослабевшая доверчивость была ему мила и приятна. Он гордился перед народом. Он даже хотел ухитриться осторожно погладить ее голову, но побоялся публичной огласки. Кроме того, в публике находилась его сговоренная невеста, которая могла ему сделать потом увечье за близость с этой Фро. Диспетчер поэтому слегка отпрянул от женщины ради приличия, но Фро опять прилегла к его груди, к его галстуку, и галстук сдвинулся под тяжестью ее головы в сторону, а в сорочке образовалась ширинка с голым телом. В страхе и неудобстве диспетчер продолжал танец, ожидая, когда музыка кончит играть. Но музыка играла все более взволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он почувствовал, что по его груди, оголившейся под галстуком, пробираются щекочущие капли влаги — там, где растут у него мужественные волосы.

— Вы плачете? — испугался диспетчер.

— Немножко, — прошептала Фро. — Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать.

Кавалер, не сокращая танца, подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей, и там оправилась.

Наташа вынесла шляпу подруге. Фрося пошла домой, а Наташа направилась к складу кооператива, который сторожил ее муж. Рядом с тем складом был двор строительных материалов, а его караулила миловидная женщина, и Наташа хотела проверить, нет ли у ее мужа с той сторожихой любви и симпатии.

На другой день утром Фрося получила телеграмму с сибирской станции, из-за Урала. Ей писал муж: "Дорогая Фро, я люблю тебя и вижу во сне".

Отца не было дома. Он ушел в депо: посидеть и поговорить в красном уголке, почитать "Гудок", узнать, как прошла ночь на тяговом участке, а потом зайти в буфет,

чтобы выпить с попутным приятелем пивца и побеседовать кратко о душевных интересах.

Фрося не стала чистить зубы; она умылась еле-еле, поплескав немного водою в лицо, и больше не позаботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме чувства любви, и в ней не было теперь женского прилежания к своему телу. Над потолком комнаты Фроси, на третьем этаже, все время раздавались короткие звуки губной гармонии; потом музыка утихала, но вскоре играла опять. Фрося просыпалась сегодня еще темным утром, потом она опять уснула, и тогда слышала над собой эту скромную мелодию, похожую на песню серой, рабочей птички в поле, у которой для песни не остается дыхания, потому что сила ее тратится в труде. Там, наверху, жил маленький мальчик, сын токаря из депо. Отец, наверно, ушел на работу, мать стирает белье — скучно, скучно ему. Не поев пищи, Фрося ушла на занятия — на курсы железнодорожной связи и сигнализации.

Ефросинья Евстафьева не была на курсах четыре дня, и по ней уже соскучились, наверно, подруги, а она шла к ним сейчас без желания. Фросе многое прощали на курсах за ее способность к учению, за ее глубокое понимание предмета технической науки; но она сама не знала ясно, как это у нее получается, — во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, окончившему два технических института, который чувствовал машинные механизмы с точностью собственной плоти.

Вначале Фрося училась плохо. Ее сердце не привлекали катушки Пупина, релейные упряжки или расчет сопротивления железной проволоки. Но уста ее мужа однажды произнесли эти слова, и, больше того, он с искренностью воображения, воплощающегося даже в темные, неинтересные машины, представил ей оживленную работу загадочных, мертвых для нее предметов и тайное качество их чуткого расчета, благодаря которому машины живут. Муж Фроси имел свойство чувствовать величину напряжения электрического тока, как личную страсть. Он одушевлял все, чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое терпеливое сопротивление машинного телесного металла.

С тех пор катушки, мостики Уитстона, контакторы, единицы светосилы стали для Фроси священными вещами, словно они сами были одухотворенными частями ее любимого человека; она начала понимать их и беречь в уме, как в душе. В трудных случаях Фрося, приходя домой, уныло говорила: "Федор, там микрофарада и еще блуждающие токи, мне скучно!" Но, обнимая жену после дневной разлуки, Федор сам превращался на время в микрофараду и в блуждающий ток. Фрося почти видела глазами то, что раньше лишь хотела и не могла понять. Это были такие же простые, природные и влекущие предметы, как разноцветная трава в поле. По ночам Фрося часто тосковала, что она только женщина и не может чувствовать себя микрофарадой, паровозом, электричеством, а Федор может, — и она осторожно водила пальцем по его горячей спине; он спал и не просыпался. Он всегда был почему-то весь горячий, странный, мог спать при шуме, ел одинаково всякую пищу — хорошую и невкусную, никогда не болел, любил тратить деньги на пустяки, собирался поехать в южный советский Китай и стать там солдатом...

На курсах Евстафьева сидела теперь со слабой, рассеянной мыслью, ничего не усваивая из очередных лекций. Она с унынием рисовала с доски в тетрадь векторную диаграмму резонанса токов и с печалью слушала речь преподавателя о влиянии насыщения железа на появление высших гармоник. Федора не было, сейчас ее не прельщала связь и сигнализация, и электричество стало чуждым. Катушки Пупина, микрофарады, уитстоновские мостики, железные сердечники засохли в ее сердце, а высших гармоник тока она не понимала нисколько: в ее памяти звучала все время однообразная песенка детской губной гармонии: "Мать стирает белье, отец на работе, не скоро придет, скучно, скучно одному".

Фрося отстала вниманием от лекции и писала себе в тетрадь свои мысли: "Я глупа, я жалкая девчонка, Федя, приезжай скорее, я выучу связь и сигнализацию, а то умру, похоронишь меня и уедешь в Китай".

Дома отец сидел обутый, одетый и в шапке. Сегодня его вызовут в поездку обязательно, он так предполагал.

— Пришла? — спросил он у дочери; он рад был, когда кто-нибудь приходил в квартиру; он слушал все шаги по лестнице, точно постоянно ожидал необыкновенного гостя, несущего ему счастье, вшитое в шапку.

— Тебе каши с маслом не подогреть? — спрашивал отец. — Я живо.

Дочь отказалась.

— Ну колбаски поджарю!

— Нет! — сказала Фрося.

Отец немного умолкал, потом опять спрашивал, но более робко:

— Может, чайку с сушками выпьешь? Я ведь враз согрею...

Дочь молчала.

— А макароны вчерашние! Они целы, я их тебе оставил...

— Да отстань ты наконец! — говорила Фрося. — Хоть бы тебя на Дальний Восток командировали.

— Просился, не берут, говорят — стар, зрение неважное, — объяснял отец.

Он знал, что дети — наши враги, и не сердился на врагов. Однако он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату, а ему хотелось, чтоб она побыла с ним и поговорила, и старый человек искал повода задержать около себя Фросю.

— Что ж ты сегодня себе губки во рту не помазала? — спросил он. — Иль помада вся вышла? Так я сейчас куплю, сбегая в аптеку...

У Фроси показались слезы в ее серых глазах, и она ушла к себе в комнату. Отец остался один; он начал прибирать кухню и возиться по хозяйству, потом сел на корточки, открыл дверку духового шкафа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородкой с макаронами.

В дверь постучали. Фрося не вышла открывать. Старик вынул голову из духовки, все тряпки висели грязные — он вытер лицо о веник и пошел отворять дверь.

Пришел вызывальщик из депо.

— Расписывайся, Нефед Степанович: сегодня тебе в восемь часов явиться — поедешь сопровождать холодный паровоз в капитальный ремонт. Прицепят к триста десятому сборному, харчей возьми и одежду, ране недели не обернешься...

Нефед Степанович расписался в книге, вызывальщик ушел. Старик открыл свой железный сундучок: там лежал еще вчерашний хлеб, лук и кусок сахара. Механик добавил туда осьмушку пшена, два яблока, подумал и запер дорожный сундучок на громадный висячий замок.

Затем он осторожно постучал в дверь комнаты Фроси.

— Дочка!.. Закрой за мной, я в рейс поехал — недели на две... Дали паровоз серии "Щ": он холодный, но ничего.

Фрося вышла не сразу, когда отец уже ушел, и закрыла дверь квартиры.

"Играй! Отчего ты не играешь?" — шептала Фрося вверх, где жил мальчик с губной гармоникой. Но он отправился, наверно, гулять — стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди сонных, блаженных сосен. Музыкант был еще мал, он еще не выбрал из всего мира что-нибудь единственное для вечной любви, его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни.

Фрося открыла окно, легла на большую постель и задремала. Слышно было, как слабо поскрипывали стволы сосен от верхнего течения воздуха и трещал один дальний кузнечик, не дождавшись времени тьмы.

Фрося пробудилась: еще светло на свете, надо было вставать жить. Она засмотрелась на небо, полное греющего тепла, покрытое живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано природой из всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее снаружи проникло внутрь человека.

Меж двух подушек Фрося нашла короткий волос, он мог принадлежать только Федору. Она рассмотрела волос на свет, он был седой: Федору шел уже двадцать девятый год, и у него росли седые волосы, штук двадцать. Отец тоже седой, но он никогда даже близко не подходил к их постели. Фрося принялась к подушке, на которой спал Федор, — она еще пахла его телом, его головой, наволочку не мыли с тех пор, как в последний раз поднялась с нее голова мужа. Фрося уткнулась лицом в подушку Федора и затихла.

Наверху, на третьем этаже, вернулся мальчик и заиграл на губной гармонике — ту же музыку, которую он играл сегодня темным утром. Фрося встала и спрятала волос мужа в пустую коробочку на своем столе. Мальчик перестал играть: ему пора спать, он ведь рано встает, — или он занялся с отцом, пришедшим с работы, и сидит у него на коленях. Мать его колет сахар щипцами и говорит, что надо прикупить белья: старое износилось и рвется, когда его моешь. Отец молчит, он думает: обойдемся так.

Весь вечер Фрося ходила путями станции, к ближним рощам и по полям, заросшим рожью. Она побывала около шлаковой ямы, где вчера работала, -шлаку опять было почти полно, но никто не работал. Наташа Букова жила неизвестно где, ее вчера Фрося не спросила: к подругам и знакомым она идти не хотела, ей было чего-то стыдно перед всеми людьми, — говорить с другими о своей любви она не могла, а прочая жизнь стала для нее неинтересна и мертва. Она прошла мимо кооперативного склада, где одинокий муж Наташи ходил с берданкой. Фрося хотела ему дать несколько рублей, чтобы он выпил завтра с женою фруктовой воды, но постеснялась.

— Проходите, гражданка! Здесь нельзя находиться: здесь склад -казенное место, — сказал ей сторож, когда Фрося остановилась и нащупывала деньги где-то в скважинах своей куртки.

Далее складов лежали запустелые, порожние земли, там росла какая-то небольшая, жесткая, злостная трава. Фрося пришла в то место и постояла в томлении среди мелкого мира худой травы, откуда, казалось, до звезд было километра два.

— Ах, Фро, Фро, хоть бы обнял тебя кто-нибудь! — сказала она себе.

Возвратившись домой, Фрося сразу легла спать, потому что мальчик, игравший на губной гармонике, уже спал давно, и кузнечики тоже перестали трещать. Но ей что-то мешало уснуть.

Фрося огляделась в сумраке и принялась: ее беспокоила подушка, на которой рядом с ней спал когда-то Федор. От подушки все еще исходил тлеющий, земляной запах теплого, знакомого тела, и от этого запаха в сердце Фроси начиналась тоска. Она завернула подушку Федора в простыню и спрятала ее в шкаф, а потом уснула одна, по-сиротски.

На курсы связи и сигнализации Фрося больше не пошла — все равно ей наука теперь стала непонятна. Она жила дома и ожидала письмо или телеграмму от Федора, боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если не застанет никого дома. Однако минуло уже четыре дня, потом шесть, а Федор не присылал никакой вести, кроме первой телеграммы.

Отец вернулся из рейса, отведя холодный паровоз; он был счастливый, что поездил и потрудился, что видел много людей, дальние станции и различные происшествия; теперь ему надолго хватит что вспомнить, подумать и рассказать. Но Фрося не спросила его ни о чем; тогда отец начал рассказывать ей сам — как шел холодный паровоз и приходилось не спать по ночам, чтобы слесаря попутных станций не сняли с машины деталей, где продают дешевые ягоды, а где их весной морозом побил. Фрося ему ничего не отвечала, и даже когда Нефед Степанович говорил ей про маркизет и про искусственный шелк в Свердловске, дочь не поинтересовалась его словами. "Фашистка она, что ль? — подумал про нее отец. — Как же я ее зачал от жены? Не помню!"

Не дождавшись ни письма, ни телеграммы от Федора, Фрося поступила работать в почтовое отделение письмоносец. Она думала, что письма, наверно, пропадают, и поэтому сама хотела носить их всем адресатам в целости. А письма Федора она хотела получать скорее, чем принесет их к ней посторонний, чужой письмоносец, и в ее руках они не пропадут. Она приходила в почтовую экспедицию раньше других письмоносцев — еще не играл мальчик на губной гармонии на верхнем этаже — и добровольно принимала участие в разборке и распределении корреспонденции. Она прочитывала адреса всех конвертов, приходивших в поселок, — Федор ничего ей не писал. Все конверты назначались другим людям, и внутри конвертов лежали какие-то неинтересные письма. Все-таки Фрося аккуратно, два раза в день, разносила письма по домам, надеясь, что в них лежит утешение для местных жителей. На утренней заре она быстро шла по улице поселка с тяжелой сумкой на животе, как беременная, стучала в двери и подавала письма и бандероли людям в подштанниках, оголенным женщинам и небольшим детям, проснувшимся

прежде взрослых. Еще темно-синее небо стояло над окрестной землей, а Фрося уже работала, спеша утомить ноги, чтобы устало ее тревожное сердце. Многие адресаты интересовались ею по существу жизни и при получении корреспонденции задавали бытовые вопросы: "За девяносто два рубля в месяц работаете?" — "Да, — говорила Фрося, — это с вычетами". — "А во время месячных очищений вы тоже ходите или дают послабление?" — "Послабление, — сообщала Фрося, — казенный пояс дают, я еще не получала его". — "Дадут, — обещал адресат, — он ведь полагается". Один получатель журнала "Красная новь" предложил Фросе выйти за него замуж — в виде опыта: что получится, может быть, счастье будет, а оно полезно. "Как вы на это реагируете?" — спросил подписчик. "Подумаю", — ответила Фрося. "А вы не думайте! — советовал адресат. — Вы приходите ко мне в гости, почувствуйте сначала меня: я человек нежный, читающий, культурный — вы же видите, на что я подписываюсь! Это журнал, выходит под редакцией редколлегии, там люди умные — вы видите — и там не один человек, и мы будем двое! Это же все солидно, и у вас, как у замужней женщины, авторитета будет больше!.. А девушка, это что — одиночка, антиобщественница какая-то!"

Много людей узнала Фрося, стоя с письмом или пакетом у чужих дверей. Ее даже пытались угощать вином и закуской и ей жаловались на свою частную текущую судьбу. Жизнь нигде не имела пустоты и спокойствия.

Уезжая, Федор обещал Фросе сразу же сообщить адрес своей работы, он сам не знал точно, где он будет находиться. Но вот уже прошло четырнадцать дней со времени его отъезда, а от него нет никакой корреспонденции, а ей некуда писать. Фрося терпела эту разлуку, она все более скоро разносила почту, все более часто дышала, чтобы занять сердце посторонней работой и утомить его отчаяние. Но однажды она нечаянно закричала среди улицы — во время второй почты. Фрося не заметила, как в ее груди внезапно сжалось дыхание, закатилось сердце, и она, протяжно закричала высоким, поющим голосом. Ее видели прохожие люди. Опомнясь, Фрося тогда убежала в поле вместе с почтовой сумкой, потому что ей трудно стало терпеть свое пропадающее, пустое дыхание; там она упала на землю и стала кричать, пока сердце ее не прошло.

Фрося села, оправила на себе платье и улыбнулась; ей было теперь опять хорошо, больше кричать не надо. После разноски почты Фрося зашла в отделение телеграфа, там ей передали телеграмму от Федора с адресом и поцелуем. Дома она сразу, не приняв пищи, стала писать письмо мужу. Она не видела, как кончился день за окном, не слышала мальчика, который играл перед сном на своей губной гармонии. Отец, постучавшись, принес дочери стакан чаю, булку с маслом и зажег электрический свет, чтобы Фрося не портила глаз в сумраке.

Ночью Нефед Степанович задремал в кухне на сундуке. Его уже шесть дней не вызывали в депо: он полагал, что в сегодняшнюю ночь ему не миновать поездки, и ожидал шагов вызывальщика на лестнице.

В час ночи в кухню вошла Фрося со сложенным листом бумаги в руке.

— Папа!

— Ты что, дочка? — Старик спал слабо и чутко.

— Отнеси телеграмму на почту, а то я устала.

— А вдруг я уйду, а вызывальщик придет? — испугался отец.

— Обождет, — сказала Фрося. — Ты ведь недолго будешь ходить... Только ты сам не читай телеграмму, а отдай ее там в окошко.

— Не буду, — обещал старик. — А ты же письмо писала, давай заодно отнесу.

— Тебя не касается, что я писала... У тебя деньги есть?

У отца деньги были; он взял телеграмму и отправился. В почтово-телеграфной конторе старик прочитал телеграмму: мало ли что, решил он, может, дочка заблуждение пишет, надо поглядеть.

Телеграмма назначалась Федору на Дальний Восток: "Выезжай первым поездом твоя жена дочь Фрося умирает при смерти осложнение дыхательных путей отец Нефед Евстафьев".

"Их дело молодое!" — подумал Нефед Степанович и отдал телеграмму в приемное окно.

— А я ведь видела сегодня Фросю! — сказала телеграфная служащая. — Неужели она заболела?

— Стало быть, так, — объяснил машинист.

Утром Фрося велела отцу опять идти на почту — отнести ее заявление, что она добровольно увольняется с работы вследствие болезненного состояния здоровья. Старик пошел опять, ему все равно в депо хотелось идти.

Фрося принялась чинить белье, штопать носки, мыть полы и убирать квартиру и никуда не ходила из дому.

Через двое суток пришел ответ молнией: "Выезжаю беспокоюсь мучаюсь не хороните без меня Федор".

Фрося точно сосчитала время приезда мужа, и на седьмой день после получения телеграммы она ходила по перрону вокзала, дрожащая и веселая. С востока без опоздания прибыл транссибирский экспресс. Отец Фроси находился тут же на перроне, но держался в отдалении от дочери, чтобы не мешать ее настроению.

Механик экспресса подвел поезд к станции с роскошной скоростью и мягко, нежно посадил состав на тормоза. Нефед Степанович, наблюдая эту вещь, немного прослезился, позабыв даже, зачем он сюда пришел.

Из поезда на этой станции вышел только один пассажир. Он был в шляпе, в длинном синем плаще, запавшие глаза его блестели от внимания. К нему побежала женщина.

— Фро! — сказал пассажир и бросил чемодан на перрон.

Отец потом поднял этот чемодан и понес его следом за дочерью и зятем.

На полдороге дочь обернулась к отцу: — Папа, ступай в депо, попроси, чтобы тебе поездку дали, — тебе ведь скучно все время дома сидеть...

— Скучно, — согласился старик, — сейчас пойду. Возьми у меня чемодан.

Зять глядел на старого машиниста.

— Здравствуйте, Нефед Степанович!

— Здравствуй, Федя. С приездом.

— Спасибо, Нефед Степанович...

Молодой человек хотел еще что-то сказать, но старик передал чемодан Фросе и ушел в сторону, в депо.

— Милый, я всю квартиру прибрала, — говорила Фрося. — Я не умирала.

— Я догадался в поезде, что ты не умираешь, — отвечал муж. — Я верил твоей телеграмме недолго...

— А почему же ты тогда приехал? — удивилась Фрося.

— Я люблю тебя, я соскучился, — грустно сказал Федор.

Фрося опечалилась.

— Я боюсь, что ты меня разлюбишь когда-нибудь, и тогда я вправду умру...

Федор поцеловал ее сбоку в щеку.

— Если умрешь, ты тогда всех забудешь, и меня, — сказал он.

Фрося оправилась от горя.

— Нет, умирать неинтересно. Это пассивность.

— Конечно, пассивность, — улыбнулся Федор; он любил ее высокие, ученые слова. Раньше Фро даже специально просила, чтобы он научил ее умным фразам, и он написал ей целую тетрадь умных и пустых слов: "Кто сказал "а", должен говорить "б", "Камень, положенный во главу угла", "Если это так, а именно так", — и тому подобное. Но Фро сама догадалась про обман. Она спросила его: "А зачем после буквы "а" обязательно говорить "б", а если не надо и я не хочу?"

Дома они сразу легли отдыхать и уснули. Часа через три постучал отец. Фрося открыла ему и подождала, пока старик наложил в железный сундучок харчей и снова ушел. Его, наверно, назначили в рейс. Фрося закрыла дверь и опять легла спать.

Проснулись они уже ночью. Они поговорили немного, потом Федор обнял Фро, и они умолкли до утра.

На следующий день Фрося быстро приготовила обед, накормила мужа и сама поела. Она делала сейчас все кое-как, нечисто, невкусно, но им обоим было все равно, что есть и что пить, лишь бы не терять на материальную, постороннюю нужду время своей любви.

Фрося рассказывала Федору о том, что она теперь начнет хорошо и прилежно учиться, будет много знать, будет трудиться, чтобы в стране жилось всем людям еще лучше.

Федор слушал Фро, затем подробно объяснял ей свои мысли и проекты — о передаче силовой энергии без проводов, посредством ионизированного воздуха, об увеличении прочности всех металлов через обработку их ультразвуковыми волнами, о стратосфере на высоте в сто километров, где есть особые световые тепловые и электрические условия, способные обеспечить вечную жизнь человеку, — поэтому мечта древнего мира о небе теперь может быть исполнена, — и многое другое обещал обдумать и сделать Федор ради Фроси и заодно ради всех остальных людей.

Фрося слушала мужа в блаженстве, приоткрыв уже усталый рот. Наговорившись, они обнимались, — они хотели быть счастливыми немедленно, теперь же, раньше, чем их будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья. Ни одно сердце не терпит отлагательства, оно болит, оно точно ничему не верит. Заспав утомление от мысли, беседы и наслаждения, они

просыпались снова свежими, готовые к повторению жизни. Фрося хотела, чтобы у нее народились дети, она их будет воспитывать, они вырастут и доделают дело своего отца, дело коммунизма и науки. Федор в страсти воображения шептал Фросе слова о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека. Затем они целовались, ласкали друг друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно сразу же осуществляясь.

По вечерам Фрося выходила из дому ненадолго и закупала продовольствие для себя и мужа; у них обоих все время увеличивался теперь аппетит. Они прожили, не разлучаясь, уже четверо суток. Отец до сих пор еще не возвратился из поездки: наверно, опять повел далеко холодный паровоз.

Еще через два дня Фрося сказала Федору, что вот они еще побудут так вместе немножко, а потом надо за дело и за жизнь приниматься.

— Завтра же или послезавтра мы начнем с тобою жить по-настоящему! — говорил Федор и обнимал Фро.

— Послезавтра! — шепотом соглашалась Фро.

На восьмой день Федор проснулся печальным.

— Фро! Пойдем трудиться, пойдем жить, как нужно... Тебе надо опять на курсы связи поступить.

— Завтра! — прошептала Фро и взяла голову мужа в свои руки.

Он улыбнулся ей и смирился.

— Когда же, Фро? — спрашивал Федор жену на следующий день.

— Скоро, скоро, — отвечала дремлющая, кроткая Фро; руки ее держали его руку, он поцеловал ее в лоб.

Однажды Фрося проснулась поздно, день давно разгорелся во дворе. Она была одна в комнате, шел, наверно, десятый или двенадцатый день ее неразлучного свидания с мужем. Фрося сразу поднялась с постели, отворила настежь окно и услышала губную гармонию, которую она совсем забыла. Гармония играла не наверху. Фрося поглядела в окно. Около сарая лежало бревно, на нем сидел босой мальчик с большой, детской головой и играл на губной музыке.

Во всей квартире было тихо и странно, Федор куда-то отлучился. Фрося вышла на кухню. Там сидел отец на табуретке и дремал, положив голову в шапку на кухонный стол. Фрося разбудила его.

— Ты когда приехал?

— А? — воскликнул старик. — Сегодня, рано утром.

— А кто тебе дверь отворил? Федор?

— Никто, — сказал отец, — она была открыта... Меня Федор на вокзале нашел, я там спал на лавке.

— А почему ты спал на вокзале, что у тебя — места нету? — рассердилась Фрося.

— А что! «Я там привык», — говорил отец. — Я думал — мешать вам буду...

— Ну уж ладно, ханжа! А где Федор, когда он явится?..

Отец затруднился.

— Он не явится, — сказал старик, — он уехал...

Фро молчала перед отцом. Старик внимательно глядел на кухонную ветошку и продолжал:

— Утром курьерский был, он сел и уехал на Дальний Восток. Может, говорит, потом в Китай проберусь — неизвестно.

— А еще что он говорил? — спросила Фрося.

— Ничего, — ответил отец. — Велел мне идти к тебе домой и беречь тебя. Как, говорит, поделает все дела, так либо сюда вернется, либо тебя к себе выпишет.

— Какие дела? — узнавала Фрося.

— Не знаю, — произнес старик. — Он сказал, ты все знаешь: коммунизм, что ль, или еще что-нибудь — что получится!

Фро оставила отца. Она ушла к себе в комнату, легла животом на подоконник и стала глазеть на мальчика, как он играет на губной гармонии.

— Мальчик! — позвала она. — Иди ко мне в гости.

— Сейчас, — ответил гармонист.

Он встал с бревна, вытер свою музыку о подол рубашки и направился в дом, в гости.

Фро стояла одна среди большой комнаты, в ночной рубашке. Она улыбалась в ожидании гостя.

— Прощай, Федор!

Может быть, она глупа, может быть, ее жизнь стоит две копейки и не нужно ее любить и беречь, но зато она одна знает, как две копейки превратить в два рубля.

— Прощай, Федор! Ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь!

В наружную дверь робко постучал маленький гость. Фрося впустила его, села перед ним на пол, взяла руки ребенка в свои руки и стала любоваться музыкантом: этот человек, наверно, и был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова.

1983 г.

Рассказ «На заре туманной юности»

1

Родители ее умерли от тифа в гражданскую войну в одну ночь. Ольге тогда было четырнадцать от роду, и она осталась одна, без родных и без помощи, в маленьком поселке при железнодорожной станции, где отец ее работал составителем поездов. После того как отца и мать помогли похоронить соседи и знакомые, девочка жила еще несколько дней в пустой, выморочной квартире из кухни и комнаты. Ольга вымыла полы в кухне и комнате, прибралась и села на табурет, не зная, что ей делать дальше и как теперь жить. Соседка-бабушка принесла девочке кулеш в чашке, чтобы сирота, бывшая худой и не по летам маленького роста, поела что-нибудь, и Ольга скушала все без остатка. А когда бабушка ушла, Оля начала стирать белье: рубашку матери и подштанники отца, что от них сохранилось из белья и верхней одежды. Вечером Ольга легла спать на койку, где спали всегда отец с матерью, когда они были живые и больные. Наутро она встала, умылась, прибрала постель, подмела комнату и сказала: "Опять надо жить!" — так часто говорила ее мать. Затем Ольга пошла в кухню и стала там хлопотать, точно она, подобно умершей матери, стряпала обед; стряпать было нечего, не было никаких продуктов, но Ольга все же поставила пустой горшок на загнетку печки, взяла чаплю, оперлась на нее и, вздохнув, пригорюнилась около печи, как делала мать. Потом она перетерла и составила в ящик стола всю посуду, посмотрела на часы, подтянула гирю к циферблату и подумала: "Не то отец вовремя придет с дежурства, не то запоздает? Если будет формироваться маршрут, то опоздает" — так обычно думала мать Ольги, называя своего мужа отцом. Теперь девочка-сирота тоже думала и поступала подобно матери, и ей от этого было легче жить одной. Она знала, что ей четырнадцать лет и ее зовут Ольгой, но, когда она делала вместо матери все дела по хозяйству, когда она повторяла ее слова, вздыхала от нужды и тихо томилась на кухне, девочка воображала себе, что мать ее еще жива в ней немного, она чувствовала ее вместе с собою.

Вечером Ольга зажгла лампу, в ней был на дне керосин, налитый когда-то отцом, и поставила огонь на подоконник. Так же делала и ее мать, когда ожидала отца в темное время. Отец, подходя к дому, еще издали кашлял на улице и сморкался, чтобы жена и дочь слышали, что идет отец. Но теперь на улице было постоянно тихо; народ разошелся по сельским хлебным местам либо лежал в своих жилищах слабый и болезненный, а в некоторых дворах вовсе вымер. Ольга все же дотемна ожидала отца или кого-нибудь, кто бы пришел к ней, но никто не вспомнил о сироте — ни бабушка-соседка, ни другие люди, потому что у них была своя боль и своя забота. Тогда она легла в кровать родителей и уснула одна.

Девочка пожила дома еще два дня, переночевала, а потом ушла на станцию. Далеко от нее, в губернском городе на Волге, жила ее тетя; она приезжала два года тому назад гостить к матери и была в воображении Ольги богатой и доброй. Тетка была сестрой матери, она даже походила на нее лицом, и девочка хотела сейчас поскорее уехать к ней, чтобы жить около тетки и не скучать по матери. Болея перед смертью, мать говорила, что если Ольге суждено жить, то пусть она едет к тетке,

чтобы не оставаться одной на свете; сестра матери и накормит сироту, и обошьет, и отдаст в учение. Теперь дочь вспомнила мать и послушалась ее.

На вокзале было пустынно; война с буржуями отошла в южную сторону. На железнодорожном пути против вокзальной платформы стоял один небольшой, старый паровоз и два пустых товарных вагона. Из будки паровоза на девочку глядел помощник машиниста; он помнил ее отца и мать, и знал, что они скончались, поэтому позвал сироту на машину. Девочка влезла по трапу на паровоз; механик развязал красный платок с пищей и вынул оттуда четыре печеные картошки; затем он погрел их на котле, посыпал солью и дал Ольге поест две картошки, а две съел сам.

Ольге захотелось, чтобы механик взял ее к себе домой, она бы стала у него жить и привыкла бы к нему. Но паровозный механик ничего не сказал девочке доброго, он только покормил ее и спрятал обратно свой пустой красный платок. Он сам был многодетный человек и не мог решить, сможет ли он прокормить лишний рот.

Ольга просидела на паровозе до самых вечерних сумерек, пока не подъехал к вокзалу длинный поезд с вагонами-теплушками, в которых находились красноармейцы.

— Я теперь пойду, мне к тетке ехать надо, — сказала Ольга механику. — Мне мать велела, когда она еще живая была.

— Раз надо, тогда езжай, — сказал ей механик.

Ольга сошла с паровоза и направилась к красноармейскому поезду. Все вагоны были открыты настежь, и почти все красноармейцы вышли наружу; некоторые из них ходили по вокзальной платформе и смотрели, что находится вокруг них — водонапорная башня, дома около станции и далее их простые хлебные поля. Четыре красноармейца несли суп в цинковых ведрах из станционной кухни; Ольга близко подошла к тем ведрам с супом и поглядела в них: оттуда пахло вкусным мясом и укропом, но это было для красноармейцев, потому что они ехали на войну и им надо быть сильными, а Ольге кушать этот суп не полагалось.

Около одного вагона стоял задумчивый красноармеец; он не спешил идти обедать и отдыхал от дороги и от войны.

— Дядя, можно я тоже с вами поеду? — попросилась Ольга. — Меня родная тетка ждет...

— А она где отсюда проживает? — спросил красноармеец. — Далече?

Ольга назвала город, и красноармеец согласился, что это — далеко, пешком не дойдешь, а с поездом завтра к утру, пожалуй, поспеешь туда.

В это время к вагону подошли два красноармейца с ведром супа, а позади них еще несколько красноармейцев несли в руках хлеб, махорку, кашу в кастрюле, мыло, спички и прочее довольствие.

— Вот тут девочка доехать до тетки просится, — сказал красноармеец своим подошедшим товарищам. — Надо бы взять ее, что ли...

— А чего нет — пускай едет! — сказал красноармеец, прибывший с двумя хлебами под мышками. — В невесты она не годится — мала, а в сестры — как раз...

Ольгу посадили в вагон, дали ей ложку и большой ломоть хлеба, и она села среди красноармейцев, чтобы есть общий суп из цинкового чистого ведра. Вскоре

один красноармеец заметил, что ей неловко есть, сидя на полу, и он велел ей встать на колени — тогда она будет доставать ложкой погуще со дна, будет видеть, где плавают жир и где находится говядина.

После ужина поезд тронулся. Красноармейцы уложили Ольгу на верхнее помостье, потому что там было теплее и тише, а сверху укрыли ее двумя шинелями, чтобы она не продрогла от ночной или утренней прохлады.

2

Поздно утром красноармейцы разбудили Ольгу. Поезд стоял на большой станции; незнакомые паровозы чужими голосами гудели вдалеке, и солнце светило не с той стороны, с какой оно светило в поселке, где жила Ольга. Красноармейцы подарили Ольге половину печеного хлеба и ломоть сала и опустили ее из вагона под руки на землю.

— Тут твоя тетка живет, — сказали они. — Ступай к ней, учись и вырастай большая, в твоё время хорошо будет жить.

— А я не знаю, где тетка живет, — произнесла Ольга снизу; она стояла теперь одна, в бедной юбчонке, босая и с хлебом под мышкой.

— Сыщешь, — ответил задумчивый красноармеец. — Люди укажут.

Но Ольга не уходила; ей хотелось остаться с красноармейцами в вагоне и ехать с ними, куда они едут. Она уже привыкла к ним немного, и ей хотелось каждый день есть суп с говядиной.

— Ну, иди помаленьку, — поторопили ее из вагона.

— А вы сказали, мне хорошо будет, а когда? — спросила она, боясь сразу уходить к тетке, неизвестно куда.

— Потерпи, — ответил ей прежний, задумчивый красноармеец. — Нам сейчас заботы много: белых надо покончить.

— Я потерплю, — согласилась Ольга. — А теперь до свиданья, я к тетке пошла.

Тетку она отыскала лишь к самому вечеру. Она спрашивала всех встречных, у кого лица были добрее, но сперва никто не знал, где живет Татьяна Васильевна Благих. Хлеб у Ольги отобрал один прохожий человек, который попросил откусить один раз, но взял весь хлеб и ушел в сторону, сказав девочке, что хлебом спекулировать теперь воспрещается. Ольга съела поскорее все сало, которое дали ей красноармейцы, чтобы его никто больше не отнял, и вошла в один двор — попросить напиться. Пожилая женщина вынесла ей кружку воды и сказала, что больше подать нечего.

— А я не побираюсь, я к тетке приехала, — сказала Ольга.

— А кто ж твоя тетка-то? — с подозрением спросила дворовая женщина.

Ольга подробно назвала свою тетку; тогда женщина почему-то вздохнула и указала девочке, куда надо идти: направо за угол, и там будет третий дом по левой стороне с некрашеными ставнями, там и живут Благих, муж и жена, а детей у них нету.

— Нету? — спросила Ольга.

— Нету, — подтвердила женщина, — у этих людей дети рожаться не любят.

Ольга нашла небольшой деревянный дом с некрашеными ставнями, вошла во двор, заросший дикой травой, и постучала в закрытые сени. Оттуда послышался

недовольный, тихий голос, затем шаги, и дверь отворилась — она была закрыта на засов и щеколду, как на ночь. Босая, простоволосая тетка Татьяна Васильевна вышла к Ольге и осмотрела всю девочку. Ольга увидела перед собой тетку; она думала, что тетка была веселой и доброй, какой Ольга запомнила ее в детстве, когда Татьяна Васильевна жила в гостях у отца и матери, а теперь тетка глядела на девочку равнодушными глазами и не обрадовалась, что к ней приехала круглая сирота.

— Ты что сюда явилась? — спросила тетка.

— Мне мать велела, — произнесла Ольга. — Она ведь теперь умерла вместе с отцом, а я одна живу... Тетя, их больше нету!

Татьяна Васильевна подняла конец фартука и вытерла глаза.

— Наша родня вся недолговечная, — сказала она. — Я ведь тоже только на вид здорова, а сама не жилица... И-их, нет, не жилица!

Ольга с удивлением смотрела на тетку — теперь она казалась ей доброй, потому что грустила об умершей сестре и о самой себе.

— Живешь-живешь, и погоревать некогда, — вздохнула Татьяна Васильевна. — Ты ступай покуда посиди на улице, — указала она племяннице, — а то я сейчас полы только вымыла, уборку сделала, пустить тебя некуда...

— А я на дворе побуду, тут трава у вас растет, — сказала Ольга.

Но Татьяна Васильевна рассердилась:

— Нечего тебе на дворе тут делать! Здесь у нас куры ходят, они и так не несутся, а ты пугать их будешь сидеть. А траву мы косим на корм кроликам, ходить по ней нельзя... Ступай по тропинке за ворота!

Ольга вышла на улицу; посредине ее лежали сложенные в штабель старые ржавые рельсы, и между ними уже много раз вырастала и умирала трава, и теперь она снова росла. Девочка села на эти рельсы — они находились как раз против окон того дома, где жила тетка, — и стала ожидать, когда высохнут полы в комнатах у тетки, и тогда ее позовут, и накормят.

Но прошли уже все прохожие, проехали крестьяне на телегах в свои деревни и ломовые возчики, возившие пшено в мешках со станции, перестали ездить, — наступил вечер, и стало темно. Ольги озябли голые ноги, она их поджала ближе к себе и задремала, сидя на стынувшем рельсе. Затем, открыв глаза, она увидела, что в окнах у тетки теперь горел свет, а на всей улице была страшная тихая ночь детства, населенная еле видимыми, неизвестными существами, от которых все люди спрятались домой и заперли двери на железо. Ольга побежала поскорее к тетке; калитка была закрыта, тогда девочка постучала в освещенное окно. Изнутри комнаты отдернули занавеску, и оттуда на Ольгу поглядело большое лицо пожилого человека, обросшего густой черной бородой; он быстро проглотил что-то, словно испугавшись, что к нему пришли отымать пищу, и внимательно всмотрелся во тьму своими глазами, такими маленькими, что они казались кроткими, как бывает у животных. Позади этого человека был виден стол с ужином, и Татьяна Васильевна сейчас поспешно убирала хлеб и посуду со стола.

Ольга отошла от окна. Вскоре отворилась калитка, и оттуда выглянула тетка.

— Ты что стучишь? — спросила она. — А мы уж думали, ты давно ушла...

— Я умиралась ждать, когда вы позовете, — сказала Ольга. — Я боюсь одна на улице...

— Ну иди уж, — позвала тетка.

В кухне и горнице у тетки было чисто, прибрано и покойно и пахло хорошо, как у богатых. "Здесь я жить не буду, — подумала Ольга. — Тут нельзя: скажут, ты испачкаешь все". Муж Татьяны Васильевны, который смотрел на Ольгу через окно, опять ел за столом свой ужин.

— От своих детей бог избавил, зато нам их родня подсыпает, -вздыхнула Татьяна Васильевна. — Вот тебе, Аркаша, племянница моя, она теперь круглая сирота: пои, корми ее, одевай и обувай!..

— Изволь радоваться! — равнодушно, точно про себя, сказал муж Татьяны Васильевны. — Ну, дай ей поесть, и пускай она сегодня переночует... А то отвечать еще за нее придется!

— А чего ж я ей постелю-то! —воскликнула тетка. — У нас ведь нет ничего лишнего-то: ни белья, ни одеяла, ни наволочки чистой!

— Я так буду спать — на жестком, а покроюсь своим платьем, -согласилась Ольга.

— Пусть ночует, — указал жене дядя, Аркадий Михайлович. — А ты нынче не зверствуй, а то тебе Советская власть покажет!

Татьяна Васильевна сначала озадачилась, а потом пришла в озлобление:

— Чем же это она мне покажет-то?.. Советская-то власть, она думает, что люди — это ангелы-товарищи, а они возьмут нарожают тебе детей, а сами помрут, — вот пусть она их и кормит, власть-то Советская!..

— Прокормит, — уверенно сказал муж тетки, жуя кашу с маслом из ложки.

— "Прокормит!" — передразнила Татьяна Васильевна своего мужа. — Кто их прокормит, если у них родители рожают без удержу! Уж я-то знаю, как трудно оборачиваться Советской власти, уж я-то ей сочувствую!..

— Меня кормить не надо, я спать хочу, — сказала Ольга; она села на сундук и отвернулась лицом от чашки с кашей, которая стояла на столе перед хозяином.

Муж тетки вытер свою ложку, положил ее около чашки и сказал сироте:

— Садись доедай — тут осталось.

Ольга села к столу и начала понемногу есть пшенную кашу, подгребая ее со дна чашки.

— Ну вот, а говорила, что тебя кормить не надо, ты спать хочешь, -произнесла тетка и поскорее положила на сундук подушку без наволочки, чтоб девочка ложилась спать.

— Я немножко, — ответила Ольга; она еще раз взяла половину ложки каши, затем начисто облизала ложку и аккуратно положила ее на стол. -Больше не буду, — сообщила она.

— Уже наелась? — добрым голосом спросила Татьяна Васильевна.

— Нет, я расхотела, — сказала Ольга.

— Ну, ложись теперь спать, отдыхай, — пригласила ее тетка на сундук. — А то мы свет сейчас потушим: чего зря керосину гореть!

Ольга улеглась на сундук, тихо сжалась всем телом, чтобы чувствовать себя теплее, и уснула на твердом дереве, как на мягкой постели, потому что у нее не было сейчас другого места на свете.

3

Утром дядя и тетка проснулись рано; дядя был железнодорожным машинистом и уезжал в очередную поездку на товарном поезде. Татьяна Васильевна собрала мужу сытные харчи в дорогу — кусок сала, хлеб, стакан пшена для горячей похлебки, четыре вареных яйца, — и машинист надел теплый пиджак и шапку, чтобы не остудить голову на ветру.

— Так как же нам теперь жить-то? — шепотом спросила Татьяна Васильевна у мужа.

— А что? — сказал Аркадий Михайлович.

— Да видишь вон, — указала тетка на Ольгу, — лежит наше новое сокровище-то!

— Она — твоя родня, — ответил ей муж, — делай сама с нею, что хочешь, а мне чтоб покой дома был.

После ухода мужа тетка села против спящей племянницы, подперла щеку рукой, пригорюнилась и тихо зашептала:

— Приехала, развалилась — у дяди с тетей ведь добра много: накормят, обуят, оденут и с приданым замуж отдадут!.. Принимайте, дескать, меня в подарок, — вот я босая, в одной юбчонке, голодная, немытая, сирота несчастная... Может, бог даст, вы скоро подохнете — дядя с тетей, — так я тут хозяйкой и останусь: что вы горбом да трудом добыли, я враз в оборот пущу!.. Ну уж, милая, пускай черти крошечные тебя к себе заберут, а с моего добра я и пыль тебе стирать не позволю и куском моим ты подавишься!.. Мужик целый день на работе, на ветру, на холоде, я с утра до ночи не присяду, а тут, на тебе, приехала на все готовое: любите, питайте меня... Ольга, чего ты все спишь-то? — вдруг громко позвала Татьяна Васильевна. — Ишь, уморилась, подумаешь, — вставать давно пора! Мне из-за тебя ни за чего приниматься нельзя!..

Ольга лежала неподвижно, обратившись лицом к стене; она свернулась в маленькое тело, прижав колени почти к подбородку, сложив руки на животе и склонив голову, чтобы дышать себе на грудь и согревать ее; изношенное серое платье покрывало ее, но это платье уже было не по ней — она из него выросла, и его хватало лишь потому, что Ольга лежала, тесно сжавшись; днем же почти до колен были обнажены худые ноги подростка и руки покрывались обшлагами рукавов только до локтей.

— Ишь ты, разнежилась как! — раздражалась близ нее тетка.

— Я не сплю, — сказала Ольга.

— А что ж ты лежишь тогда, мне ведь горницу убирать пора!

— Я вас слушала, — ответила девочка.

Тетка осерчала:

— Ты еще путем не выросла, а уж видать, что — ехидна!

Ольга встала и оправила на себе платье. Помолчав, Татьяна Васильевна сказала ей:

— Пойди умойся, потом я самовар поставлю. Небось кушать хочешь!

Ольга ничего не ответила; она не знала, что нужно сейчас думать и как ей быть.

За чаем тетка дала Ольге немного черных сухарей и половину вареного яйца, а другую половину съела сама. Поев, что ей дали, Ольга собрала со скатерти еще крошки от сухарей и высыпала их себе в рот.

— Иль ты не сыта еще? — спросила тетка. — Тебя теперь и не прокормишь!.. Уйдешь из дому, а ты и начнешь по шкафам крошки собирать да по горшкам лазить... А мне сейчас как раз на базар надо идти, как же я тебя одну-то во всем доме оставлю?

— Я сейчас пойду, я у вас не останусь, — ответила ей Ольга.

Тетка довольно улыбнулась.

— Что ж, иди — значит, тебе есть куда идти... А когда соскучишься, в гости будешь к нам приходить. Так-то будет лучше.

— Когда соскучусь, тогда приду, — пообещала Ольга, и она ушла.

На улице было утро, с неба светило теплое солнце; скоро будет уже осень, но она еще не наступила, только листья на деревьях стали старыми. Ольга пошла мимо домов по чужому, большому городу, но смотрела она на все незнакомые места и предметы без желания, потому что она чувствовала сейчас горе от своей тетки, и это горе в ней превратилось не в обиду или ожесточение, а в равнодушие; ей стало теперь неинтересно видеть что-либо новое, точно вся жизнь перед ней вдруг омертвела. Она двигалась вперед вместе с разными прохожими людьми и, что видела вокруг, тотчас забывала. На одном желтом доме висели объявления и плакаты, люди стояли и читали их. Ольга тоже прочитала, что там было написано. Там писалось о том, куда требуются рабочие и на какой разряд оплаты по семиразрядной тарифной сетке; затем объявлялось, что в университет принимаются слушатели с предоставлением стипендии и общежития. Ольга пошла в университет — она хотела жить в общежитии и учиться; она уже четыре зимы ходила в школу, когда жила при родителях.

В канцелярии университета никого не было, все ушли в столовую, но сидел на стуле один сторож-старик и ел хлебную тюрю из жестяной кружки, выбирая оттуда пальцами мочёные кусочки хлеба. Он сказал Ольге, что ее по малолетству и неосознанности сейчас в университет не примут, пусть она сначала поучится добру в низшей школе.

— Я хочу жить в общежитии, — проговорила Ольга.

— Чего хорошего! — ответил ей старик. — Живи с родными, там тебе милее будет.

— Дедушка, дай мне тюрю доесть, — попросила Ольга. — У тебя ее немножко осталось, ты ей все равно не наешься, а мочёнки ты уже все повиаташил...

Старик отдал свою кружку сироте:

— Похлебай: ты еще маленькая, тебе хватит, может, наешься... А ты чья сама-то будешь?

Ольга начала есть тюрю и ответила:

— Я ничья, я сама себе своя.

— Ишь ты, сама себе своя какая! — произнес старик. — А тюрю мою зачем ешь? Харчилась бы сама своим добром, жила бы в чистом поле...

Ольга отдала кружку обратно старику:

— Доедай сам, тут еще осталось... Меня в люди не принимают!

4

Служащие канцелярии, пришедшие из столовой, приняли в Ольге участие. Заведующий написал письмо на курсы подготовки младших железнодорожных агентов с просьбой принять осиротевшую дочь рабочего на эти курсы и обеспечить ее всем необходимым для жизни. Сторож-старик проводил вечером Ольгу по адресу, и комендант курсов пока что отвел для Ольги место в общежитии — койку и шкаф — рядом с другой такой же койкой в маленькой выбеленной комнате; далее по коридору было еще много комнат, где жили учащиеся курсанты. На завтрашний день с утра, когда придет заведующий курсами, комендант велел Ольге оформить свое поступление посредством заполнения анкеты.

Несколько дней Ольга привыкала к подругам по общежитию и к своей новой жизни, а потом почувствовала, что ей здесь хорошо. Утром и вечером она училась в подготовительном классе, который находился при курсах, а среди дня был перерыв на обед и на отдых. Узнав, что Ольга нуждается и не может платить в столовой за пищу, заведующий велел выдать новой учащейся стипендию за полмесяца вперед, а также башмаки, белье, нитки, две пары чулок, верхнюю куртку и прочее, что полагалось по норме.

Тревога и грусть перед жизнью, вызванные в Ольге смертью родителей, ночлегом у тетки и сознанием, что все люди обходятся без нее и она никому не нужна, теперь в ней прекратились. Ольга понимала, что она теперь дорога и любима, потому что ей давали одежду, деньги и пропитание, точно родители ее воскресли и она опять жила у них в доме. Значит, все люди, вся Советская власть считают ее необходимой для себя и без нее им будет хуже.

И Ольга училась с прилежным усердием, чувствуя в себе спокойное, счастливое сердце, лишь иногда оно томилось в ней неутешимым воспоминанием об отце и матери, и девочка хотела, чтобы ее снова любил кто-нибудь -отдельный человек, подобно отцу или матери, а не все люди, которые сейчас ее кормят и учат, но которых она хорошо не знает.

Просыпаясь по ночам, Ольга забывала, что она лежит в общежитии, ей казалось, что рядом с нею спят в сумраке на своей старой кровати мать и отец, что слышатся свистки маневрового паровоза со станции и брешут собаки вдалеке, охраняя добро своих хозяев, сложенное в дворовых закутах... Но глаза ее понемногу привыкали к сумраку, и девочка видела спящую подругу-соседку, пятнадцатилетнюю Лизу. Подруга всегда спала кротко, тихо дыша спокойным телом, ей, может быть, снилось ее девичье предчувствие -будущая счастливая жизнь; из-за толстых стен большого здания слышался долгий городской гул, всегда как будто удаляющийся, но возникающий вновь из ночного труда и движения людей.

В классе Ольга сидела рядом с Лизой, которая тоже была наполовину сиротой: ее отца убили на империалистической войне, а мать, нестарая женщина, вышла замуж за заведующего столовой и, не заботясь более о своей дочери, предалась шумной, сытой жизни и какой-то общественной деятельности. Но перед Лизой открылись другие близкие люди; утратив мать, она нашла подруг в общежитии, узнала, кто такой Ленин, что такое революция, — и печаль нужды и сиротства оставила ее сердце, которое дотопе было бедным и несчастным, потому что оно чувствовало жизнь лишь как необходимость терпеть голод и тоску вдвоем с матерью, в одиночестве своей комнаты, около печки-лежанки, где они спали и изредка готовили пищу, когда доставали пшена и щепок. Затем мать ушла к мужу и забывала приносить дочери хлеб...

Подруги, общежитие, обучение науке, кружки самодеятельности, питание всем готовым в столовой — это было не то, что домашнее уныние и непрерывная забота о хлебе, утомляющая детскую душу.

Ольга вначале не понимала, за что ее здесь кормят и позволяют жить в чистоте и тепле, почему здесь не нужно вдобавок к ученью работать, а нужно только думать, учиться, слушать музыку, когда играют по вечерам в клубе на гармонии, и читать книги, описывающие всю жизнь. И Ольга боялась, что ее прогонят из школы и общежития, потому что ее пока ведь не за что любить, кормить и доверчиво тратить на нее добро бедного народа. И хотя она не пугалась нужды и ночлега в неприютных местах, но ей было жалко лишиться этой счастливой и веселой жизни в общежитии, чувства свободы и сознания своего значения, которое она приобретала из книг и от учителей на курсах; ей уже не хотелось теперь жить, как прежде, со спрятанным, тихим сердцем, — она хотела им чувствовать все, что ей раньше было незнакомо.

На вечере в честь годовщины Октябрьской революции Ольга впервые в жизни долго слушала музыку на рояле, привезенном из Дворца труда, и она заплакала оттого, что это было хорошо оттого, что жизнь не может быть скучна и обыкновенна, она должна быть волшебной, похожей на истинное предчувствие ее, которое существует в детском или юношеском сердце.

Ольга спросила у Лизы, которая была рядом с ней на стуле:

— Лиза, нас не прогонят отсюда домой? У меня ведь дома больше нет! Кто это все делает для нас?

— Это Ленин, — сказала Лиза. — Он нас никогда не тронет!

— А почему? — спросила Ольга.

Лиза удивилась:

— Почему?.. А потому, что он нас тоже любит, мы будущие люди, мы будем коммунизмом... Без нас всем станет плохо.

Ольга задумалась, она не поняла Лизу:

— А как же он будет — коммунизм? Надо ведь стараться!

— Ленин знает, как будет все! — легко ответила Лиза.

Ольга посмотрела на портрет Ленина: "Он уже старый, — подумала она, — как мой отец; мы много хлеба едим и одежду скоро носим, а вчера на курсы пять возов дров привезли, — нам надо скорее учиться и вырастать, чтоб самим работать". Она была мала ростом и несильная в теле, и сама это знала. "Как бы не помереть, — еще

озаботилась она. — Недавно тиф и грипп ходили, а то на нас Ленин потратит последнее, а мы вдруг помрем от болезни и ничего не сделаем, и даже его никогда не увидим".

Ночью, укрывшись в одеяло с головой, Ольга начала думать о своей и всеобщей жизни; она представила Ленина, как живого, главного отца для себя и для всех бедных, хороших людей, — и от этой мысли она почувствовала ясное, верное счастье в своем сердце, как будто вся смутная земля стала освещенной и чистой перед нею, и жалкий страх ее утратить хлеб и жилище прошел, потому что разве Ленин может ее обидеть или оставить опять одну без надежды и без родства на свете?.. Ольга любила правильное устройство мира, чтобы все было в нем уместно и понятно, — так было ей лучше думать о нем и счастливее жить.

5

Ослабленным и худым учащимся в столовой давали обыкновенно добавок к обеду, если они его просили, — по второй тарелке супу или каши. В первое время ученья Ольга тоже часто брала себе добавок, чтобы сытнее наедаться, но теперь она перестала требовать добавки и с неудовольствием смотрела на Лизу, которая всегда съедала двойную порцию второго блюда. Ольга жалела общую пищу республики, чтобы осталось больше хлеба для красноармейцев и рабочих, для всех, кто сейчас нужнее, чем она.

Но через несколько месяцев, к весне, их столовой вдруг вовсе перестали выдавать продукты, а всем учащимся курсантам задержали уплату стипендий. После оказалось, что в этом деле были повинны белые офицеры, служившие в губпродкоме и финотделе, и те, кто им доверил советскую службу.

Лиза, не поев всего два дня, на третий день заплакала, а Ольга не стала плакать. Ольга с утра пошла на третий этаж дома, где жили разные вольные жильцы, и попросила у хозяек работы по домашнему хозяйству, -уроки в этот день она пропустила. Но хозяйки из экономии всюду управлялись сами, и лишь в одной квартире полная женщина, Полина Эдуардовна, велела Ольге вымыть полы, потому что ей самой было трудно нагибаться от излишней полноты тела. За эту работу Ольга получила фунт хлеба, два куска сахара и еще немного денег.

Вернувшись в общежитие, Ольга подождала Лизу, когда окончатся дневные уроки, и разделила с ней пополам хлеб и сахар. Лиза скушала свою долю, но не наелась и опять стала печальной от голода.

— Скажи мне, какие были сегодня уроки? — спросила у нее Ольга.

— Сегодня были неинтересные уроки! — ответила Лиза.

Ольга нахмурилась:

— Ты учишь теперь за себя и за меня, пока нам стипендию не отдадут, — сказала она. — А я буду тебя кормить и у тебя уроки записывать, а по вечерам стану их готовить.

Лиза спросила:

— А что ты будешь делать?

— Полы пойду у людей помою, за детьми посмотрю, — делов везде много, — грустно сказала Ольга. — А ты учись, я тебя одна прокормлю.

— Я есть хочу, — произнесла Лиза. — Я не наелась твоим хлебом и куском сахара.

— Я тебе сейчас еще хлеба принесу, — пообещала Ольга и ушла из комнаты.

Она отправилась к тетке, но побоялась пойти к ней сразу и села на рельсы, лежавшие на улице против окон теткиного дома. Старые рельсы, неизвестно чьи, находились на прежнем месте, и Ольга с улыбкой встречи и знакомства погладила их рукой. Она сидела долго и видела, что тетка два раза глядела на нее в окно, но тем более ей трудно было пойти в дом родных, хотя Ольга уже давно озябла на зимнем холоде.

Вечером Татьяна Васильевна вышла за калитку и позвала племянницу:

— Иди уж, чего сидишь!.. Потрескай моего кулешу...

Ольга вошла в дом и съела кулеш из жестяной чашки, которую подала ей тетка; Аркадия Михайловича дома не было, но Татьяна Васильевна торопила, чтоб Ольга ела скорее, потому что тетке надо было уходить, и она из-за спешки даже забыла дать сироте хлеба, из-за которого Ольга и пришла к тетке, с тем чтобы унести хлеб Лизе.

Накормив племянницу кулешом без хлеба, Татьяна Васильевна неожиданно сказала:

— Посиди еще, мне рано уходить, — и вдруг вытерла фартуком глаза, где не было слез, или их было очень мало.

Затем тетка рассказала Ольге, что ей сейчас надо идти в железнодорожную столовую: муж ее, Аркадий Михайлович, теперь всегда как сменится, то умывается прямо из паровоза и потом идет в столовую, где он спознал, на старости лет, с одной официанткой-подавалкой, Маруськой Вихревой, и ей надо пойти туда, чтобы дознаться про эту измену...

— Тетя, — обратилась Ольга, — дайте мне кусочек хлеба побольше.

Тетка молча поглядела на сироту и еще некоторое время подумала.

— Ну да бери уж, — произнесла тетка в раздражении от гибели всей своей жизни. — Все одно, жить теперь мне не судьба... Горькая моя головушка!

Татьяна Васильевна заплакала и запричитала по самой себе, затем по мужу и по своему опустевшему дому, а Ольга самостоятельно открыла шкаф, где хранились продукты, и взяла оттуда ковригу печеного хлеба. Тетка глядела на нее, но ничего не говорила, только когда Ольга разрешила ковригу пополам и половину хлеба взяла себе на руки, Татьяна Васильевна вскрикнула и еще сильнее заплакала.

— Вот моей и жизни конец! — тихо сказала она. — Кого мне теперь кормить, кого питать, кого в доме ожидать!..

Ольга пообещала вскоре еще навестить родную тетку и попрощалась с нею; она спешила.

— Приходи хоть ты-то ко мне! — попросила ее Татьяна Васильевна. — Уж ты видишь, какая я стала — совсем на человека не похожа...

В общежитии Ольга застала Лизу; она уже вернулась с вечерних занятий, не досидев одного урока. Ольга отдала ей хлеб и велела есть, а сама начала заниматься далее по пройденным сегодня предметам, чтобы не отстать. Лиза жевала хлеб и

говорила подруге, что сегодня было в классе, но она сама плохо усвоила уроки и не могла объяснить, что такое периодическое число.

— Надо стараться, — сказала ей Ольга. — Чего ты уроки не досиживаешь? А когда сидишь — о чем думаешь? Эх ты, горькая твоя головушка!

— Тебе какое дело! — обиделась Лиза. — Чего мы завтра будем есть? — вздохнула она.

— Что сегодня, то и завтра, — ответила Ольга. — Я достану. Не надо было говорить, что мы будущие люди, когда ты ото всего умереть боишься и периодического числа не запомнила... Это прошедшие, буржуазные люди такие были — вздыхали и боялись, а сами жили по сорок и пятьдесят лет... Нам надо остаться целыми, нас Ленин любит!

Лиза перестала есть хлеб и сказала:

— Я больше не буду, давай уроки вместе делать, — у меня в животе щипало, есть хотелось...

— Что у тебя, кроме живота ничего нету, что ли? — рассердилась Ольга. — У тебя сознание должно где-нибудь быть!

Подруги сели делать уроки к общему столику, и долго еще светил свет на две их задумчивые, склонившиеся головы, в которых работал сейчас их человеческий разум, питаемый кровью из сердца. Но вскоре они нечаянно задремали и, встрепенувшись на мгновение, улыбнулись и легли на свои кровати в безмолвном детском сне.

Наутро Ольга снова пошла работать по людям, чтобы кормить себя и Лизу, а Лиза должна учиться пока одна за них обеих.

Через два дома от общежития курсов Ольге пришлось наняться приходящей нянькой к одному человеку, рано потерявшему жену, — другой домашней работы нигде не было. Ребенку было всего полтора года, звали его Юшкой, и Ольга должна находиться с ним в комнате по девять и десять часов в день, пока отец Юшки не возвратится под вечер с завода; за эту работу Ольга должна получать с хозяина стол и зарплату по тарифу работников Нарпита.

Ольга полюбила Юшку; это был мальчик с большой головой, темноволосый, с серыми чистыми глазами, внимательно и добродушно наблюдавший все явления и происшествия в комнате; он обычно не плакал и терпел без раздражения и обиды свои младенческие невзгоды. Ольгу привлекла в ребенке одна его особенность: взяв сначала, он отдавал обратно ей все, что она ему дарила, и прибавлял к тому еще что-нибудь лишнее, что у него бывало под руками — в люльке или на полу, где он играл и ползал. Если Ольга давала ему старую погремушку, то мальчик дарил ей в ответ деревянную бочку, которой он играл до того, и норовил еще отдать и соску с пузырьком или прочую обиходную для него вещь. Когда Ольга кормила Юшку кашей, он ел с охотой в том случае, если нянька тоже ест с ним — одну ложку себе в рот, а другую ему, и так по очереди, иначе ребенок есть не хотел.

Ровно месяц прожила Ольга в няньках,нося каждый вечер пищу Лизе из своей доли, а потом нужда в работе миновала: курсантам выплатили полностью всю задолженность по стипендии и в столовую начали возить продукты. Но Ольга уже не

могла оставить Юшку одного без помощи; почти ежедневно она видела его, навещая ребенка в обеденный перерыв между уроками или вечером после занятий.

У Юшки уже была другая нянька, старуха, но Юшка признавал Ольгу выше, любимей старухи и всегда тянулся к ней.

Отец Юшки, тридцатилетний механик-дизелист, молча глядел на Ольгу, когда она нянчила и ласкала ребенка при нем, и шептал про себя: "Как жаль, как жаль!" Ему было жалко, что Ольга никогда не сможет быть для Юшки приемной матерью, и он, отвернувшись от сына и Ольги, глядел в окно и видел, что оно становится мутным, потому что у него застилались глаза несдержанными слезами.

Ольге не понравилась новая нянька — старуха; она могла теперь доверить Юшку лишь с большой разборчивостью; поэтому Ольга отыскала детские ясли и уговорила отца устроить туда Юшку. Отец вначале колебался — он не верил, что государственные няньки, члены профсоюзов, получающие зарплату по тарифной сетке, могут заменить детям матерей, но Ольга возразила ему тем, что она тоже государственная, советская нянька и тоже получала у него зарплату по тарифу. Отец тогда подумал и согласился носить Юшку в детские ясли.

6

Через три года, по окончании курсов, Ольгу и Лизу направили на железнодорожную линию на практику. Перед отъездом Ольга попрощалась с Юшкой и заплакала над ним. Подросший мальчик уже давно привык называть Ольгу мамой; он обнял ее и долго не отпускал от себя, пока им не пришло время расстаться...

Ольге в ту пору стало семнадцать лет, а Лизе восемнадцать. Их отправили, как подруг, вместе, чтобы они не скучали и лучше работали.

Им назначили проходить практику на маленькой станции Серьга, недалеко от города, где они учились. Здесь они должны были работать конторщиками, весовщиками, подменять дежурного по станции и даже научиться управлять маневровым паровозом.

Стояло лето, жилого поселка вблизи станции не было, поэтому начальник станции поселил курсанток в оборудованный для перевозки войск товарный вагон, поданный в дальний тупик.

Сначала подруги захотели пройти практику на станционном паровозе, с чем согласился начальник станции, — и они целые долгие летние дни дежурили на старом паровозе серии "О-В". Машинист, пожилой человек, ушел в отпуск, его заменял теперь помощник Иван Подметко, молчаливый парень тридцати с лишним лет, а Ольга и Лиза вдвоем служили ему помощниками. Подметко стал учить девушек машине своим способом — как не надо на ней работать.

— Видишь, паровоз у меня сейчас не стронется с места, а пар я открою, — говорил Подметко. Он открывал регулятор, но машина не шла.

Ольге и Лизе нужно было догадываться, отчего это происходило.

— Отсечка мала, поверни реверс! — догадывалась Ольга.

— Ну верно, — ухмылялся Подметко. — А вот если я сейчас разгоню машину вперед, а потом как шарахну реверсом назад, а регулятор оставлю на всем открытии, — предлагал Подметко, — то, что у меня тогда получится?

— Если ты продувных кранов не откроешь, крышки цилиндров порвешь либо поршневым штоком согнешь, либо дышла искалечишь, — сообщила ему Ольга.

— Всякой дурочке понятно, — соглашался Подметко. — А котел вы можете сжечь? Я вас научу... Ну это после, а сейчас ступайте, всю машину оботрите, чтоб блестела, а сами потом умойтесь, — что вы чумазые, как чумички, сидите на паровозе: грязь ведь это лишнее трение и смерть!.. Смотрите на меня — и думайте!

После трех месяцев работы на паровозе Лиза стала работать в конторе у начальника станции — изучать искусство движения поездов по графику, а Ольга была направлена в пакгауз — в помощники к весовщику; она хотела в точности знать дело грузовых операций, главную работу железных дорог.

Поздней осенью практические занятия обеих курсанток кончились; они должны были теперь возвратиться обратно на курсы, сдать экзамены и получить назначение на постоянную, обыкновенную службу. Едва ли их назначат вместе, и подругам предстояла разлука. Они часто сидели по вечерам в своем жилом вагоне, свесив ноги наружу, и говорили о великой жизни, которая их ожидает впереди. Перед ними была смутная степь, холодеющая в ночи, — большая, грустная, но добрая и волшебная, как будущее время, ожидающее юность. У подруг заходило сердце от предчувствия и воображения, и они обнимали друг друга, полные доверчивости.

Незадолго до отъезда навсегда со станции Серьга Ольга однажды проснулась на утренней заре. Лиза крепко спала рядом с нею, укутавшись с головой в серое железнодорожное одеяло, взятое из спального вагона. В воинской теплушке было привычно тепло и тихо, подруги ее успели обжить за длинное лето. И это их темное, тихое жилище начал заполнять далекий, тревожный, рвущийся вихрем скорости и ветра гудок паровоза. Тогда Ольга сообразила, отчего она проснулась: паровоз, наверно, кричал еще раньше, во время ее сна. Она сразу вскочила с места и побудила Лизу:

— Вставай... У него тормоза не держат!

Ольга схватила свою одежду с табуретки и оделась. Паровоз опять запел, приближаясь издалека. Ольга прислушалась к словам машины:

"Нет, — задумалась она. — Он говорит о том, что у него состав оборван..."

Она раскатила дверь, выпрыгнула из вагона и побежала к станции; Лизу ей ожидать уже было некогда, пусть она спит одна на заре и не раскрывает на себе одеяло.

Против вокзального здания на третьем пути стоял одинокий паровоз; он был единственным на станции, и больше ничего не было вокруг него, кроме здания вокзала, и степь тоже была сейчас светлой и пустой. Из паровоза глядели в направлении приближающегося поезда два человека — пожилой машинист и его помощник Иван Подметко; они ожидали, что случится, когда оборван состав поездного маршрута; по правилу все поездные маршруты миновали станцию Серьгу с ходу, без остановки, как и все пассажирские поезда, кроме почтовых.

В минувшую ночь на станции дежурил сам начальник станции. Он стоял сейчас на платформе и, сняв фуражку, вслушивался в сигналы приближающегося поезда, идущего с затяжного уклона.

Ольга подбежала к нему:

— Вы слышите — у него состав оборван!

— Я слышу, — недовольно ответил начальник станции, и вдруг он опечалился и рассерчал, как пожилой, уставший человек: — Ну отчего все эти происшествия обязательно случаются в мое дежурство? Неужели мне покоя не полагается?..

Ольга ему не ответила; она глядела в сторону набегающей катастрофы; оробевший начальник станции поглядел туда же.

Вдали, на прямой, был виден путь, поднимаясь от станции в крутой и долгий подъем, и оттуда, с затяжного уклона, шел грудью вперед паровоз — с открытым полным паром, на всей отсечке.

Тот паровоз время от времени тревожно пел, то сигнала об обрыве, то прося сквозного прохода.

Начальник станции внимательно посмотрел на Ольгу:

— Ведь это же воинский состав оборван!.. Надо поскорее принимать какое-либо решение!

Ольга попросила его:

— Командуйте!

— Сейчас, — в тревоге и поспешности сказал начальник, — сейчас мысль ко мне придет!

— Долго, — возразила Ольга. — Не надо, я сама знаю...

Она сошла с платформы вниз, перебежала пути, достигла маневрового паровоза и ухватила за поручень трапа, ведущего в кабину машины. Затем она обернулась к начальнику станции:

— Предупредите соседнюю станцию, дайте сквозной проход! — и вбежала на тихо сипящий, мирный паровоз.

Выходной семафор со станции был закрыт. Начальник станции взглянул на него и исчез с платформы вокзала.

— Сифон! — сразу сказала Ольга, войдя на паровоз. — Что же вы тут смотрите, сидите?

Иван Подметко молча повернул кран сифона, открыл дверцу в топку и начал кидать туда уголь полной лопатой. Пламя не поспевало высасываться тягой вон в атмосферу и забивалось длинными красно-черными языками внутрь паровозной будки через открытую шуровку.

— Поедешь со мной? — спросила Ольга у пожилого, спокойного машиниста, хозяина машины.

Механик ответил не враз: он подумал, потрогал гущу волос на подбородке и произнес:

— Уклон велик: расшибемся... Ведь и за Серьгой продолжается уклон к Волге, тут только на станции одна маленькая площадка. А у меня семейство большое...

Выходной семафор открыл начальник станции. Паровоз воинского поезда пропел совсем близко. Ольга сказала механику:

— Ну, нам надо ехать, — ты сходи, береги своих детей!

Подметко по-прежнему поспешно загружал топку.

— А ты? — спросила его Ольга.

— Мне можно, — ответил Подметко. — Давай! Я бездетный!

На платформу вокзала вышел начальник станции; он держал в вытянутой руке развернутый желтый флаг: осторожная езда по усмотрению. А тяжелый поезд уже гремел вблизи стальными колесами, и паровоз снова завыл о катастрофе.

Машинист станционного паровоза молча сошел на землю и помаленьку направился вдоль пути, якобы по текущему делу, касающемуся обслуживания машины.

Начальник станции был скрыт от Ольги набежавшим составом. Сначала промчался паровоз, за ним с воем и скрежетом, с лихою игрою рессор прошло немного вагонов, у которых были настежь открыты двери. "А где же Лиза? -подумала Ольга. — Неужели она спит и не слышит?" Через открытые двери вагонов на мгновение было видно красноармейцев; они силою молодых рук сдерживали бьющихся лошадей, испугавшихся скорости и раскачки вагонов, и лошади вышибали копытами доски из стен вагонов, так что видна была древесина на срезах досок.

Паровоз с вагонами прошел, и на платформе остался лежать жезл, сброшенный с паровоза. Начальник станции поднял жезл, вынул из него записку и прочел: "Оборвано двадцать — тридцать вагонов. Ухожу от хвоста. Дайте проход и предупреждение вперед. Механик А. Благих".

Начальник станции с этой запиской прыгнул с платформы, перебежал рельсы и отдал записку Ольге.

Ольга взяла записку, прочла ее и поглядела туда, откуда прибыл паровоз с головной частью поезда.

Оттуда, с горизонта, без паровоза, надвигался и сразу вырастал несущийся хвост поезда. Сейчас была видна лишь передняя лобовая часть вагона — тупая, слепая стенка, увеличивающаяся на глазах от скорости.

Ольга, не найдя в себе места, куда спрятать записку начальника станции, взяла ее в рот, повернула несколько раз штурвал реверса вперед до отказа и двинула регулятор на открытие пара; паровоз тронулся.

Ольга взяла ручку регулятора на себя, потом от себя, покачала его и поставила его на всю дугу. Паровоз бросился вперед, пар стал бить в трубу в ускоренной, задыхающейся отсечке.

Маневровый станционный паровоз уже ушел со станции, но начальник, на всякий случай, поднял сигнал остановки — красный диск и свободную руку ладонью к поезду. С вихрем и музыкой свободной скорости появился перед ним хвост поезда в двадцать — тридцать вагонов; большая часть вагонов были открытыми платформами. На этих платформах стояли легкие орудия, кухни и лежало покрытое брезентами разное воинское имущество. Красноармейцы спокойно сидели на тех платформах и пели свои песни. Лишь командир их, держась за стойку одного тормозного вагона, молча глядел вперед, и тормоза под этим вагоном, как нечаянно заметил начальник станции, были зажаты намертвую, — но им, одним вагоном, удержать состав, несущийся под уклон, было невозможно.

Начальник станции сейчас же ушел в дежурную комнату — сообщать в отделение службы эксплуатации о назревающем происшествии.

Паровоз, который вела Ольга, сильно раскачало от скорости, но она не убавляла открытия пара и отсечки. Время от времени она глядела на водомерное стекло, на манометр и назад, где ее нагонял свободный оборванный состав, разгоняющийся под уклон. Иван Подметко беспрерывно загружал топку углем, чтобы держать хорошее давление в котле и уходить вперед.

Но, оглянувшись назад, он начинал сомневаться: оборванный хвост поезда их быстро нагонял.

— Не удержим состава, расшибемся, — сказал он. — Придется погибать.

— Прыгай! — посоветовала ему Ольга.

— А ты? — спросил Подметко.

— Я останусь одна, — ответила Ольга.

Подметко распахнул дверцу топки и снова начал швырять туда лопаты с углем.

— Я буду тоже с тобой, — сказал он. — Справимся.

Машина Ольги шла уже на предельной скорости; колесные дышла были почти незаметны от поспешности своего движения. Ольга одна видела сейчас положение своей машины. Слепой состав шел скорее, чем ее паровоз, и настигал убегающую машину почти в упор.

— Иван! — крикнула она. — Шуруй скорее топку! Ты завалил пламя углем, — что же ты со мной делаешь?!

Подметко взял кочергу и засунул ее в бушующий огонь. Однако расстояние между паровозом и слепым составом все более сокращалось. "Неужели? — думала Ольга. — Неужели я сейчас умру? Не хочется!"

Вдруг она услышала красноармейскую песню, которую пели на открытых платформах нагоняющего ее бешеного поезда. "Не буду я умирать!" — решила она. Она высунулась из окна паровозной кабины далеко наружу и увидела, что ей будет сейчас трудно: вагоны с разгона собьют ее легкий паровоз под откос. Она обернулась к Ивану Подметко:

— Уходи! Нас расшибет сейчас!

Иван еще немного подумал вдобавок:

— Надо воду выбить — шибче поедем. — И он дернул штангу крана продувки цилиндров, а потом схватился за поручни трапа и исчез вниз: должно быть, прыгнул в песок балласта, чтобы спасти свою жизнь.

Ольга заметила, что Подметко ушел, и прошептала: "Боже мой!" — как говорила когда-то ее покойная мать. Далее она не успела ничего подумать. Она почувствовала удар в машину, и паровоз ее прыгнул вперед, как живой и сознательный. Ольга обернулась через окно назад: "Что случилось?" — и тут же ощутила второй, громящий тупой удар. "Ну же, бедная! — с испугом вслух сказала она сама себе. — Пусть песни поют, без тебя!" — и Ольга закрыла регулятор, пустила песок под колеса, дала реверс назад, обратно открыла регулятором пар на полный ход и повела кран паровозного тормоза на все его открытие. Машина ее на мгновение стала вмертвую, уперлась на месте. Ольга сейчас же отпустила воздушный тормоз, а затем сама, всею машиной, надавила задним ходом на ударивший в нее состав, но инерция задних, напирających вагонов еще не погасла — и они своей мертвой силой разгона вглухую вдвинули тендер паровоза в его кабину, где

находился одинокий механик. Ольга поняла, что происходит, и свернулась в комок на своем месте машиниста: "Это теткин муж, сволочь Благих, Аркадий Михайлович, это он оборвал состав! У меня записка в зубах была — где я ее потеряла? Где Лиза, неужели все спит?"

Ольгу сжало в машине. Она почувствовала, как ей стало душно, как всю ее — без остатка, вместе с одеждой — вдавливают чужая сила в железное тело горячего котла.

Маневровый паровоз даже не сошел с рельсов, в машину только вдвинулся тендер на котел, но зато весь оборванный состав уцелел, если не считать сцепных приборов одного переднего вагона, ударившего в паровоз. Теперь весь поезд мирно стоял на высокой насыпи среди чистого поля, освещенного безветренным утренним солнцем. Красноармейцы и командир сначала вышли на траву и подошли к паровозу. В паровозе лежала во сне или в смерти незнакомая одинокая женщина. Тогда командир и его помощник, разобрав крышу над будкой паровоза, освободили женщину из машины и опустили ее оттуда на руки красноармейцев.

После того командир отошел в сторону и громко сказал:

— Четверо остаются здесь! Остальные — бегом назад к станции. Первые четверо несут раненую, затем передают ее с рук на руки новым четверым людям, а те — следующим! Все.

Через полчаса Ольга была доставлена на руках красноармейцев обратно на станцию Серьгу. С нею же прибыл командир эшелона, не оставлявший ее в пути. Он соединился по железнодорожному телеграфу с командованием военного округа и доложил происшествие; у механика ранена голова и грудь; все красноармейцы невредимы, имущество цело; в случае дальнейшего развития свободной скорости оборванный состав неминуемо сошел бы с рельсов на закруглении перед волжским мостом или на самом мосту; либо же состав был бы сокрушен на станции, расположенной по ту сторону реки, за мостом, куда поезд должен был ворваться.

Из военного округа сообщили, что оттуда высылают через одну минуту санитарный автомобиль скорой помощи с двумя врачами и всеми принадлежностями для лечения; автомобиль пойдет по шоссе напрямую и достигнет станции назначения скорее, чем экстренный паровоз.

Командир склонился к Ольге, лежавшей на диване в телеграфной комнате:

— Кого вы хотите увидеть? Мы сейчас вызовем. Может быть, родственников или друзей?

— Юшку, — сказала Ольга. — А больше никого не надо: пусть за меня все люди на свете живут...

— Хорошо, — ответил командир и дал знак телеграфисту приготовиться к передаче. — А это кто Юшка?

— Ребенок, — произнесла Ольга.

Командир удивился молодости матери и ничего не сказал. Она долго и терпеливо болела, но умереть не могла, — Ольга выздоровела, стала жить и живет до сих пор.

1938 г.

Марина Ивановна Цветаева

Стихотворение «Домики старой Москвы»

Слава прабабушек томных,
Домики старой Москвы,
Из переулочков скромных
Всё исчезаете вы,

Точно дворцы ледяные
По мановенью жезла.
Где потолки расписные,
До потолков зеркала?

Где клавесина аккорды,
Темные шторы в цветах,
Великолепные морды
На вековых воротях,

Кудри, склоненные к пальцам,
Взгляды портретов в упор...
Странно постукивать пальцем
О деревянный забор!

Домики с знаком породы,
С видом ее сторожей,
Вас заменили уроды, —
Грузные, в шесть этажей.

Домовладельцы — их право!
И погибаете вы,
Томных прабабушек слава,
Домики старой Москвы.

1911 г.

Стихотворение «Моим стихам, написанным так рано...»

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я — поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
— Нечитанным стихам!

Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берет,
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Коктебель, 13 мая 1913 г.

Стихотворение «Вот опять окно...»

(Цикл «Бессонница», 10)

Вот опять окно,
Где опять не спят.
Может — пьют вино,
Может — так сидят.
Или просто — рук
Не разнимут двое.
В каждом доме, друг,
Есть окно такое.

Крик разлук и встреч —
Ты, окно в ночи!
Может — сотни свеч,
Может — три свечи...

Нет и нет уму
Моему — покоя.
И в моем дому
Завелось такое.

Помолись, дружок, за бессонный дом,
За окно с огнем!

23 декабря 1916 г.

Стихотворение «Реквием»

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверзтую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.

Застынет все, что пело и боролось,
Сияло и рвалось.
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.

И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет все — как будто бы под небом
И не было меня!

Изменчивой, как дети, в каждой mine,
И так недолго злой,
Любившей час, когда дрова в камине
Становятся золой.

Виолончель, и кавалькады в чаще,
И колокол в селе...
— Меня, такой живой и настоящей
На ласковой земле!

К вам всем — что мне, ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?! —
Я обращаюсь с требованием веры
И с просьбой о любви.

И день и ночь, и письменно, и устно:
За правду, *да и нет*,
За то, что мне так часто — слишком грустно
И только двадцать лет,

За то, что мне прямая неизбежность —
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид,

За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру...
— Послушайте! — Еще меня любите
За то, что я умру.

8 декабря 1913 г.

Стихотворение «Имя твое — птица в руке...»

(Цикл «Стихи к Блоку», 1)

Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке.
Одно-единственное движение губ.
Имя твое — пять букв⁰.
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту.

Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В легком щелканье ночных копыт
Громкое имя твое гремит.
И назовет его нам в висок
Звонко щелкающий курок.

Имя твое — ах, нельзя! —
Имя твое — поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век.
Имя твое — поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток...
С именем твоим — сон глубок.

15 апреля 1916 г.

⁰ Блокъ

Стихотворение «Генералам двенадцатого года»

Сергею⁰

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса,

И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след, —
Очаровательные франты
Минувших лет!

Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.

Вас охраняла длань Господня
И сердце матери. Вчера —
Малютки-мальчики, сегодня —
Офицера!

Вам все вершины были малы
И мягок — самый черствый хлеб,
О, молодые генералы
Своих судеб!

Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,
Я встретила, Тучков-четвертый⁰,
Ваш нежный лик,

И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена...
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна...

⁰ Стихотворение посвящено С. Эфрону.

В первоначальном варианте начиналось строфой, позднее опущенной:

Одна улыбка на портрете,
Одно движение головы, —
И чувствуется, в целом свете
Герои — вы.

⁰ Тучков-четвёртый Александр Алексеевич (1778—1812) — генерал-майор, павший в Бородинском сражении.

О, как, мне кажется, могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать — и гривы
Своих коней.

В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век...
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.

Три сотни побеждало — трое!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы всё могли.

Что так же трогательно-юно,
Как ваша бешеная рать?..
Вас златокудрая Фортуна
Вела, как мать.

Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острее —
И весело переходили
В небытие.

Феодосия, 26 декабря 1913 г.

Стихотворение «Мне нравится, что Вы больны не мной...»⁰

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной —
Распущенной — и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем ни ночью — всуе...
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо Вам и сердцем, и рукой
За то, что Вы меня — не зная сами! —
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце не у нас над головами,
За то, что Вы больны — увы! — не мной,
За то, что я больна — увы! — не Вами.

3 мая 1915 г.

⁰

Стихотворение обращено к Маврикию Александровичу Минцу (1886 — 1917), впоследствии мужу А.И. Цветаевой.

Анна Андреевна Ахматова

Стихотворение «Вечером»

Из сборника «Чётки»

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

Он мне сказал: «Я верный друг!»
И моего коснулся платья.
Так не похожи на объятья
Прикосновенья этих рук.

Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных...
Лишь смех в глазах его спокойных
Под легким золотом ресниц.

А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
«Благослови же небеса —
Ты в первый раз одна с любимым».

Март 1913г.

Стихотворение «Мне голос был»

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну чёрный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернялся скорбный дух.

Осень 1917 г.

Стихотворение «Я не знаю, ты жив или умер...»

Из сборника «Белая стая»

Б.В. Анрепу

Я не знаю, ты жив или умер,
На земле тебя можно искать
Или только в вечерней думе
По усопшем светло горевать.

Все тебе: и молитва дневная,
И бессонницы млеющий жар,
И стихов моих белая стая,
И очей моих синий пожар.

Мне никто сокровенней не был,
Так меня никто не томил,
Даже тот, кто на муку предал,
Даже тот, кто ласкал и забыл.

Лето 1915 г.

Стихотворение «Смуглый отрок бродил по аллеям...»

Отрывок из цикла «В Царском селе», III

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

1911 г.

Стихотворение «Я пришла к поэту в гости...»

Из сборника «Чётки»

Александру Блоку

Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз.

И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом...
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!

У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен;
Мне же лучше, осторожней,
В них и вовсе не глядеть.

Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.

Январь 1914 г.

Стихотворение «Муза»

Из сборника «Тростник»

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я!».

1924 г.

Поэма «Реквием»

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

1961 г.

Вместо предисловия

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

1 апреля 1957 г., Ленинград

Посвящение

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат —
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже, и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.
Приговор... И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет... Шатается... Одна.
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный мой привет.

Март 1940 г.

Вступление

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки,
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

I

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки,
Смертный пот на челе... Не забыть!
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

1935 г., Москва

II

Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.

Входит в шапке набекрень.
Видит желтый месяц тень.

Эта женщина больна,
Эта женщина одна.

Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

1938 г.

III

Нет, это не я, это кто-то другой страдает,
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари...
Ночь.

1939 г.

IV

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей —
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезой горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука — а сколько там
Неповинных жизней кончается...

1938 г.

V

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.
И только пышные цветы,
И звон кадельный, и следы
Куда-то в никуда.
И прямо мне в глаза глядит
И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.

1939 г.

VI

Легкие летят недели.
Что случилось, не пойму,
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели,
Как они опять глядят
Ястребиным жарким оком,
О твоём кресте высоком
И о смерти говорят.

Весна 1939 г.

VII

Приговор

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.

А не то... Горячий шелест лета
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

Лето, 1939 г.

VIII

К смерти

Ты все равно придешь — зачем же не теперь?
Я жду тебя — мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись, как опытный бандит,
Иль отрави тифозным чадом.
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой, —
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. Клубится Енисей,
Звезда Полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застигает.

19 августа 1939 г., Фонтанный Дом

IX

Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином,
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивай его
И как ни докучай мольбою):

Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья,

Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук —
Слова последних утешений.

4 мая 1940 г. , Фонтанный Дом

X

Распятие

*«Не рыдай Мене, Мати,
во гробе зрящи»*

1

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
А Матери: «О, не рыдай Мене...»

2

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

1940-1943 г., Фонтанный Дом

Эпилог

1

Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною, ослепшею стеною.

2

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:

И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,

И ту, что, красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой».

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,

Пусть так же они поминают меня
В канун моего поминального дня.

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,

Но только с условием — не ставить его

Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,

Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.

И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег,

И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

Март 1940 г., Фонтанный Дом